

## ПИСАТЕЛЬСКИЕ ЭПИСТОЛЫ

На зимней сессии позвал нас к себе пожить Борис Стефанович, поэт, геолог по образованию. Его я знал еще со своей армейской поры, когда мы выступали с ним и с приезжим из Владивостока поэтом Вячеславом Пушкиным в корсаковском кафе «Оазис».

— Меньше волнуйся, — посоветовал мне Пушкин (чудесное звучание у этой фразы!). — Ты написал хорошие стихи, а публика — дура! Читай с вызовом, дескать — нате!

Так читать я не выучился, но поученье запомнил, как запомнил и рокочущий его баритон, и стихи:

*И вслед нам лязгала Аляска  
Цепями Алеутских остров...*

Борис Стефанович читал стихи в духе Роберта Рождественского о том, как парни упрямо лезли на гору и покорили ее. А на горе:

*Страшно хочется пить!  
И страшно хочется неть!*

Это было в 1968 году, а сейчас Борис выглядел гораздо более раздраженным. Из-за его стихотворения, напечатанного в сборнике «Сахалин», сняли редактора издательства Анатолия Кириченко. Директор Максимов спустя годы рассказывал эту историю у себя на кухне, похохатывал и был похож на смеющегося тигра:

— Я-то в Японии находился на момент выпуска «Сахалина», в составе писательской делегации во главе с Леонидом Соболевым. Так и доложил, когда мне секретарь по идеологии Селяевский из обкома позвонил. Он до меня дотянуться хотел из-за этого стихотворения. А с меня взятки гладки! Сняли редактора Толю Кириченко, и правильно сделали. А то они мне там с Лебковым да Финновым сионизм развели. Мы его и из партии исключили. Спросили на партсобрании прямо: «Солженицына в самиздате читал?» Он, дурак, и сознался, что читал. Проголосовали единогласно за исключение...

Начал бучу секретарь обкома из-за стихотворения Стефановича о соратниках Ленина:

---

\* Журнальный вариант. Окончание.

*Умирают те, кто знали Ленина...  
Лично знали взгляды, жесты, речь.  
Умирает ленинское поколение...  
И ничем нельзя их уберечь...*

Все бы ничего, но во второй половине стихотворения «обнаружился криминал»:

*Так отыщем тех, кто ныне живы,  
Спросим их, оценим и поймем —  
Так ли мы, по-ленински не лживы ль,  
По-революционному живем?!*

— Это что же, мы у старых пер...нов должны спрашивать, как нам жить?! — громыхал на очередном пленуме обкома идеологический секретарь.

Так Боря стал местным диссидентом. Редактором его книги до этих событий назначили Юрия Николаева.

— Я ему прямо в лицо сказал, — поделился как-то Борис, — что он не имеет морального права редактировать мои стихи. Он спросил: «Почему?» — «Да потому, что ты пишешь гораздо хуже меня...»

После того как его книгу стихотворений «зарубили» рецензенты издательства, Борис стал писать обличительные письма в разные высокие инстанции. Но при встречах тема эта не педалировалась, за исключением одного случая, о котором — позже.

Лебков тоже писал в ту пору письма о попрании справедливости. Хотя мы разговаривали больше о поэзии: о недавно погибшем Рубцове, с которым учился в литинституте Игорь Арбузов, о Владимире Соколове и Михаиле Дудине, с которыми Лебков был хорошо знаком.

Несколькими годами позже, чуть ли не со слезами на глазах, жаловался Репин:

— Вызвали в обком. Рассказывай, говорят, коммунист Репин, как дошел до жизни такой, и показывают письмо Лебкова. А там — черным по белому: «Правильно Репин говорит, что гнать вас надо поганой метлой из партии...» За что же он меня так? — горестно вопрошал поэт-фронтовик. Но это было уже в восьмидесятых годах.

Для Бориса Стефановича мы с Анастасией были «свободными ушами». К тому же я ему сочувствовал, его взгляды и позиция казались мне честными, хотя радикализма, деления мира только на черное или белое я не разделял.

В двухкомнатной малогабаритной квартирке было не очень просторно, но мы уместились. Жена хозяина, Валя, — очень славная и терпеливая женщина, иначе бы ей не выдержать сурового Бориного характера, — работала в библиотеке Дома культуры железнодорожников.

Все вместе ездили мы на море, в Стародубское. Я дорогой делился впечатлениями о только что купленном и прочитанном в Горнозаводске романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», о котором здесь еще мало кто знал. В автобусе как-то встретили сына Юрия Николаева, очень серьезного подростка Игоря. Борис хорошо знал его и дотошно расспрашивал «за жизнь».

В моем городке оказался чрезвычайно «богатый» книжный магазин. Если его тогдашний прилавок сравнить с сегодняшними, когда любую литературу можно выставить, то предпочтительнее, на мой взгляд, все-таки тот, горнозаводский...

Уж точно он был разнообразнее и интереснее областных магазинов, где самые редкие и ценные книги расходились по «своим» покупателям. Здесь же далеко не всякому шахтеру, звероводу или даже учителю и врачу нужен был двухтомник

Кнута Гамсуна. Или крупноформатный двухтомник Франсиско Гойи с офортами «Капричос», том «Римские императоры», изданный Московским университетом, или воспоминания великого итальянского певца Титта Руффо «Парабола моей жизни»... Мимо больших, нарядных двухтомников Куприна, Чехова, «бравого солдата Швейка» я не мог пройти. Как не мог удержаться, чтобы не купить «Храм Покрова на Нерли» или художественный альбом под стать ему.

Через много лет, в восьмидесятых годах, попал в подобный магазин в кишлаке, который стоял у подножья гор, в самом начале подъема на плато Суфа, где друзья-астрономы строили свою обсерваторию.

Так что два наших самодельных стеллажа довольно скоро оказались забыты книгами, и встал вопрос о сколачивании третьего.

### ВИЗИТ КУРАТОРА «З»

Однажды я вздремнул перед уроками во второй смене, но был разбужен настойчивым стуком в дверь. За порогом стоял интеллигентного вида человек средних лет. Поздоровавшись и войдя в дом, он начал плести мне, еще не проснувшемуся окончательно, про то, как лестно ему познакомиться с восходящей поэтической звездой. Для этого он-де сделал крюк и заехал из Невельска...

Рассказывая, он прошел к стеллажам в маленькой комнате, похвалил подбор книг и спросил, нет ли у меня «Ракового корпуса» Александра Солженицына или «Архипелага ГУЛАГа». Я честно ответил, что про такие книги даже не слышал.

— Есть «Один день Ивана Денисовича» в роман-газете. Могу дать почитать...

— Это я читал, — ответил он. — А вообще-то у меня к вам серьезный разговор. Как к коммунисту...

Говорил он улыбочиво и без нажима. Сообщив, что является куратором писателей от органов госбезопасности, продолжил:

— Скажу откровенно: у нас большое беспокойство вызывают действия вашего знакового Бориса Стефановича...

— А что такое? — удивился я.

— Он пишет очернительные письма в разные инстанции, в редакцию газеты «Правда», например... Следующее письмо, наверное, будет в Организацию Объединенных Наций... Возможно, создается сионистская организация... Так получилось, что вы — единственный из его приятелей, кто остался вхож к нему в дом. Обращаемся к вам как коммунисту за помощью...

— Чем же я могу помочь? — Сон уже слетел окончательно. — И что же там за сионисты такие, если у него предки — сербы? Он мне сам об этом говорил. И кто еще?..

— А еще — Лебков с сионистскими настроениями...

— Как?! Евгений Дмитриевич?! Абсолютно русский по духу поэт! — воскликнул я потрясенно.

— Нам лучше знать, — тонко улыбнулся куратор. Назову его «З».

— Хотелось бы знать, какие у Стефановича книги в домашней библиотеке, что он читает...

— Да хорошие книги! Собрание сочинений Ленина и «Капитал» Карла Маркса даже есть, — изо всех сил пытался я заступиться за Бориса.

— Вот-вот-вот, — встрепенулся куратор «З». — Не говорит ли он, читая Ленина, что Ильич учил нас жить вот так, а мы живем и действуем совсем по-другому?

— Упаси бог! — упирался я.

— Но есть же у него стихотворение об этом: «Умирают те, кто знали Ленина...»? — настаивал «З».

— Все не об этом. Он отдал дань уважения старикам-ветеранам, посочувствовал им, предложил использовать их опыт...

— Ладно. А вот не предлагал ли он вам почитать самиздатовский роман Солженицына «Раковый корпус»?

— Ни в коем случае, — с чистой совестью отвечал я. — И разговора о такой книге не было...

Куратор «З» пересказал мне содержание «Ракового корпуса» в надежде, что я вспомню, где видел такой текст. Но я впервые о нем слышал, хотя название и было на слуху, возможно, из газет...

Политическая литература меня тогда мало интересовала. Главной и по-настоящему интересной была эстетическая сторона поэзии и прозы, художественность.

Завершая посещение моего барака, куратор «З» предупредил, что об этом разговоре никому говорить не нужно...

— Прошу как коммуниста, — закончил он, прощаясь.

Последнее прозвучало вполне задушевно. По тональности почти что «прошу как друга...» Так я и понял по глупости. Хотя на самом деле это было прямое указание на ответственность по «партийной линии».

— Приходили к Вите Кольцову, расспрашивали про меня, — сообщил при встрече Борис. — А тебя не вызывали?..

Разумеется, я ему немедленно рассказал о визите куратора «З» и о характере вопросов. Мне казалось, что он воспримет это как предостережение и перестанет от сочинения стихов отвлекаться на разоблачение редактора с директором издательства и их «высоких покровителей».

— Ну что ж, — задумчиво подытожил Борис, — в своем новом письме о том, что меня обложило КГБ, я должен буду сослаться на твое и Вити Кольцова свидетельства... К тому же ты и сам должен написать письмо в «Правду» о том, что меня преследуют за убеждения...

Пришла пора и мне поскрести в затылке.

— Как же так? — озадачилась моя глупость. — К тебе по-товарищески, а ты вот так...

И только через несколько лет, задним умом «догнав» я: «Когда и кого они не бросали себе под ноги, эти правдолюбцы-«необольшевики» — за истину, за здравый смысл в собственном понимании? Как ранние христиане забивали камнями язычников-многобожцев, так и «поздние» верные ленинцы-сталинцы прошлись кровавой опричниной по всей стране, шельмуя и истребляя друг друга. Об этом, возможно, и четыре строки Владимира Соколова, написанные в конце предыдущего столетия:

*Я устал от двадцатого века,  
От его окровавленных рек.  
И не нужно мне прав человека!  
Я давно уже не человек...*

## «ЗАБУДЬТЕ О НАШЕМ РАЗГОВОРЕ»

Подшло время очередной учебной сессии в Южно-Сахалинском пединституте. Взял нас на жительство поэт, радиожурналист Игорь Арбузов. Жена его Женя,

тоже радиожурналист, была собкором программы «Тихий океан» и находилась в отъезде. Самого его призывали на воинскую переподготовку. Поэтому мы с Анастасией оказались временными хозяевами в их четырехкомнатной малогабаритке по улице Горького.

Во время очередной лекции открылась дверь аудитории, и я узнал знакомые зальсины куратора «З». Знаками он показал мне, что нужно выйти, и повел меня к ближайшей лавочке. По дороге мы говорили о погоде и о видах на урожай. И лишь когда присели, он с упреком произнес:

— Ну как же вы так?! Мы к вам как к коммунисту, а вы не оправдали доверия, все рассказали Стефановичу... А о нем вы подумали? Что, если бы человек с собой покончил от переживаний? Ведь такие случаи бывали...

Я понимал, что, говоря о себе во множественном числе, он имеет в виду свою организацию.

— Да не могу я врать! Тем более глаза в глаза с человеком, — повинулся я.

— Да уж, и мы не учли: поэт все-таки, тонкая душа... — принял он часть моей вины на себя. — Слава богу, страшного не случилось. Но хочу попросить вас еще о помощи. Как коммуниста. Сами понимаете, какое сложное международное положение сегодня в мире. Оживились идеологические противники нашего государства. А среда, в которой вы обитаете, — творческая, литературно-художественная — наиболее уязвима в этом отношении. Поэтому я прошу вас сообщать мне о враждебных и вообще о настроениях, которые преобладают у писателей. Как коммуниста, — повторил он.

Пока он говорил, я соображал и слышал только одно: человек просит о помощи.

«Да какой разговор! Конечно, помогу! Если врагов увижу, подрыв устоев или еще что-нибудь против Родины... Как коммунист... Обязательно...»

Но внутренний голос остудил мой пыл: «Ты же можешь подвести серьезных людей, которые доверяют тебе. Скажи им все честно...» И я сказал:

— Я бы рад, но у меня, извините великодушно, слабость есть. Как я выпимши — все на языке, ничего не удерживается...

Куратор «З» не сильно огорчился и, как мне показалось, с облегчением вздохнул:

— Хорошо, что честно предупредили. Я-то все понимаю — поэт, сложная психология... Тогда к вам последняя просьба: забудьте о нашем разговоре!

И я забыл. Больше ко мне оттуда не обращались. Видимо, метели где-то в своих списках напротив моей фамилии: профнепригоден! Надеюсь, что так.

Никаких карьерных устремлений у меня не было, и, если честно, только поэзия занимала мое воображение. А каково было людям, вознамерившимся стать какими-нибудь начальниками, заместителями директоров или учеными, докторами наук? Сейчас я достаточно отчетливо их различаю и понимаю, что многим из них эти должности и звания просто не светили без поддержки и рекомендаций «оттуда». И я им сочувствую, как посочувствовал мысленно одному из своих приятелей, от которого видел в жизни много добра и которого считал и считаю человеком замечательным.

— Ты знаешь, кто был информатором в те годы? Мне пришлось согласиться. Ведь если бы не я, то другой мог бы на тебя, на Тоболяка, на Богданова, на Финнова бог знает чего наклепать. А я писал в отчетах правду: дескать, все разговоры крутятся вокруг стихов, женщин и где бы рюмочку добавить...

Хотя чего ему сочувствовать? Наоборот, порадоваться за приятеля надо. Ведь могли такие «салазки» завернуть, если бы отказался... И на месте его «руководящем» сидел бы кто-нибудь чуждый нам, и не было бы в сложные антиалкогольные годы рядом с нами надежного друга...

Гораздо позже услышал я историю в воспоминаниях драматурга Володина:

«Вскоре после ввода наших войск в Чехословакию оказался я в ресторане с друзьями. Чешская тема была тогда у всех на устах. Мы хорошо выпили, и я, встав, обратился к залу с осуждением советского вмешательства в жизнь чужой страны: “Слушайте меня, стукачи, и передайте своим хозяевам, что это говорю я, драматург Володин!” Проходивший мимо метрдотель сказал мне: “Ну зачем вы так кричите? Ведь те, к кому вы обращаетесь, сидят с вами за одним столиком...”»

А на Иркутском семинаре молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, куда я попал в 1974 году, один из старших и более опытных семинаристов учил: «Как услышишь, что кто-то громко вслух ругает советскую власть, вождей или партию, — бей в рожу! Потому что это — провокатор».

Поэтому говорить здесь надо не столько о людях, сколько об обстоятельствах нашей тогдашней жизни.

Также никаких особых эмоций у меня не возникло, когда в девяностые годы некто из архивных источников поделился сведениями о двух стукачах в околописательском пространстве в советские времена. С одним все было понятно еще тогда: отсидел большой срок по уголовному делу — подростком разбил голову мастеру-самодуру в цехе оборонного завода.

— Ты когда-нибудь видел, как человек с отрубленной головой, как петух, бежит? — спросил он меня однажды. — И не приведи бог тебе видеть. Так расправлялись в лагере с некоторыми. Натачивался, как бритва, обруч от танкового фрикциона с шестеренкой внутри. Ну, знаешь, такие обручи пацанва проволочными крючками гоняла в послевоенные годы. Так вот, если точно попасть отточенным обручем, голова у того, кому он предназначен, просто отлетала от туловища... Мне это до сих пор снится...

После отсидки Василий — назову его так — вступил в КПСС, стал редактором районной газеты... Понятно, чем за это нужно было расплачиваться... Он писал неплохие юмористические рассказы и приключенческие повести.

Другая — детский автор — находилась в самой гуще литературной жизни. Видимо, ей просто деваться было некуда. Да и что можно было рассказать о писателях? Все то же самое: говорят о стихах, о женщинах, размышляют, где бы выпить...

Не секрет, что женщина строит карьеру благодаря своей красоте или привлекательности. Реже — за счет ума, еще реже — того и другого вместе. А каково бесцветной, глупой и никакой? Ей тоже хочется быть защищенной, да еще и самой «Родину защищать», как это может быть легко объяснено идейными соображениями. Хочется значимость свою сознавать. Пусть не от ума или таланта, а от «посвященности» в то, во что не всякого посвящают. Правда, есть еще путь интриганства — стравливания коллег для собственного возвышения. Но одно другому не мешает...

«Я так думаю» — как говаривал в знаменитой кинокомедии незабвенный Фрунзик Мкртчян. И еще думаю: «Сколько же этих сильно повзрослевших начальствующих теток и сегодня по разным конторам сидит...»

Когда в конце девяностых годов мы вместе с Сахалинским фондом культуры наметили увековечить несколько писательских имен, то по поводу имени писателя Максимова историк Латышев запротестовал: «Я против Максимова. Ведь он был стукачом, и сам об этом заявлял!»

Да, верно, припомнил я, объявлял Николай Иванович о себе: «У меня на всех на вас папочка с тесемочками имеется...»

Когда я спросил, зачем он это делает, писатель, не задумываясь, отвечал: «Пусть боятся!» И цитировал кого-то из французских королей: «Не нужно, чтобы меня любили. Достаточно, чтобы боялись».

Ему же, как выяснилось через несколько лет, был я обязан упреком куратора «З»: «Мы к вам, как к коммунисту, а вы не оправдали доверия...»

Рассказывал от «этом» Николай Иванович спокойно:

— Сижу я на работе в издательстве. Приходит Репин. Надо сказать, провокаторскую его натуру я насквозь видел. Как-то с бутылкой коньяка заявился: «Давайте выпьем, Николай Иванович...» Это в десять-то утра. Тут и думать нечего, для чего человек из враждебного лагеря, где он с Лебковым, Финновым да Стефановичем обнимается, является утром ко мне с угощением. Допустим, выпили мы с ним бутылку. Он-то не на работе. Звонок в обком партии: «Директор издательства Максимов — пьян!» И мне оттуда: «Иди сюда!» Но я, — Николай Иванович расцветал в широчайшей улыбке, — я-то все понимал. Нет, говорю, дорогой Борис Петрович, на работе не пью!

Так вот, является он и после внесения ясности в «дело с бутылкой» говорит: «К Тарасову приезжали из органов. Расспрашивали о Стефановиче. Просили не говорить об этом никому, а он все рассказал и Стефановичу, и мне». Что же прикажете делать? После его ухода я поднял трубку и выполнил свой долг — доложил дежурному КГБ о том, что услышал от Репина...

И он снова расплылся в улыбке, которая делала его похожим на смеющегося тигра. И все-таки, несмотря ни на что, он со своей второй женой, Ольгой Дмитриевной Голубевой, поэтессой, бывшей фронтовичкой, были для меня просто трогательными стариками, нежно заботящимися друг о друге. Да и ко мне они относились по-отечески и дружески. Иногда выглядели и забавными. Как, например, после одного из обсуждений моей новой рукописи книги, на котором Николай Иванович выступил с неожиданной речью:

— Странные настроения прослеживаются в рукописи Тарасова. В октябре все грустно, все печально, серо, дождик льет... А ведь Великий Октябрь — это для советских людей символ обновляющейся жизни...

— Как же так, Николай Иванович? — спросил я его через несколько дней, когда сидел у них на кухне за скромным ужином. — Здесь вы мне похвалы всякие расточаете, а на обсуждении — вон как.

— Ладно, не серчай на старика. Жизнь такая. Ты большой поэт, от тебя не убудет. А Олину книжку, которая в плане этого года стоит, из-за тебя могли бы отодвинуть...

## МЫС КРИЛЬОН

Летом 1973 года включили меня в агитбригаду, которая автопробегом направлялась на мыс Крильон — самую южную точку Сахалина. Ехали на трех уазиках. За Шебунином дорога приобретала все более сельский вид. А после пограничной заставы в Перепутье поехали вообще по отливу, вдоль самой кромки воды.

На заставах мы давали концерты, я читал свои стихи. На одной из застав, забравшейся на лесистую сопку, обнаружилась чудесная солдатская библиотека. С журналами, «Днями поэзии». Здесь впервые услышал я, что журнал «Юность» в армейские библиотеки не поступает, поскольку не рекомендован для чтения солдатами.

— Не служба, а райская жизнь, — восхитился я. — На природе, с книжками в свободное время от дежурств, с лицензией на отлов горбуши сколько угодно — для пропитания личного состава пограничной заставы...

Но молодежь не понимала своего счастья. Ребята сучали по дому, как все нормальные солдаты-срочники.

Мы ехали все дальше. Остров Монерон отчетливо синел в море по правую руку. Здесь оказалось самое короткое расстояние между ним и Сахалином. Если от Невельска было шестьдесят морских миль, то отсюда — миль сорок. Но никто из этих мест на Монерон не ходил, а если бы кто-то и предпринял попытку, то пограницы бы ее пресекли. Ведь в море нельзя было даже на резиновой лодке выходить. А если таковая все же имелась, то должна была быть зарегистрирована.

*До мыса Крильона дорога прямая  
Вдоль берега моря течет по песку.  
Течет по отливу, нигде не петля,  
До мыса Крильона, как слово в строку.  
И не километры, а пенные мили  
Вдоль синего моря до мыса легли.  
Как солнечно в мире! И автомобили  
Над белую пеною, как корабли...*

Ехали в основном по отливу, но мыс Кузнецова пришлось преодолевать по сложной горной дороге. Стояли солнечные дни, и во всей красе представляли перед нами чудесные пляжи, высокотравные распадки с речками, наполненными чистой водой.

Поселок на мысе Крильоне оказался похожим на деревянный городок Дикого Запада из голливудского вестерна. Однако гражданского населения не наблюдалось. На мысе стояло несколько казарм различных воинских подразделений: связисты, артиллеристы, мотострелки, пограничники... Поэтому петлички у встретившихся солдат были самых разных цветов: черные, алые, зеленые и даже голубые у вертолетчиков.

Внизу, среди скал и пенного прибоя, громоздились терриконы железных бочек. Это были настоящие горы металлолома, поразившие меня поначалу пуще всего. Когда я спросил у одного из обитателей городка, почему все это громоздится и не вывозится, то мне охотно разъяснили, что вывозить тару из-под горюче-смазочных материалов не то что нерентабельно, а чрезвычайно дорого. Поэтому бочки сбрасываются с береговой кручи на волю волн, на откуп ржавчине и времени.

Нас поселили у пограничников, сказав, что только у них поддерживается надлежащий порядок: чисто и без грубых нарушений санитарных норм. В казарме стоял теннисный стол, удалось поиграть. А вечером новое потрясение: в красном уголке, еще его называли Ленинской комнатой, советский черно-белый «Рекорд» показывал японские телепрограммы.

Самой любимой и ожидаемой была программа рукопашных боев под названием «Кетч». Солдаты болели за своих любимцев и — настоящий солдатский тотализатор — делали на них ставки. Имена им, естественно, давали свои. Конечно, даже я со своей доверчивостью понял через несколько минут, что в этом действе — слова «шоу» еще не было и в помине — больше цирка, чем подлинной борьбы и боя.

Но все-таки эти подсечки, громкие оплеухи, падения и прыжки, рычание окровавленных бойцов — все это выглядело очень зрелищно, хотя и непривычно.

Дружным гулом одобрения встретили появление на ринге двухметрового скелетообразного кетчиста.

— Кощей вышел, — прошелестело в ленкомнате. — Сейчас даст чихпыху...

Соперником его был тоже гигант англосаксонской наружности. Но против Кощей ставок не было...

Поединок оказался драматическим. Противники по очереди выбрасывали друг друга за канаты ринга, прямо в публику. Зрители в ужасе разбежались. Бойцы



пускали в дело их кресла и стулья. По очереди били друг друга лицом об пол и прыгали с канатов ногами на грудь поверженного соперника. Но победил все-таки Кощей, и публика восторженно заламывала руки. Очевидно, тот был любимцем и у японских зрителей.

Погранцы сообщили, что Кощей непобедим с самого первого своего появления, уже третий месяц.

— Наш телесигнал не доходит. Только с Хоккайдо можем принимать... Спортивные передачи солдатам не повредят... — разяснил замполит заставы. — Да и изучать вероятного противника — не помешает...

Действительно, эти «их нравы» впечатляли куда больше, чем какая-нибудь фотокартинка в «Комсомольской правде», где полицейские избивали дубинками демонстрантов.

О том, что за проливом враг, напоминала и стрелка-указатель на перекрестке: «До вероятного противника — 37 км».

— Касается не только японцев, но и американской базы на Окинаве, — пригрозил замполит.

Третье яркое впечатление возникло при разглядывании поздним вечером противоположного берега. Посреди пролива Лаперуза предупреждал об опасности свет маяка на Камне Опасности. Но главным было разноцветье улиц со светом неоновых реклам японского города. Та часть берега переливалась огнями в противовес нашему: темному, напряженно вглядывающемуся в ту непонятную, запретную для нас жизнь.

— Такие ясные вечера здесь большая редкость, — подсказал вездесущий замполит. — Обычно — туманы или дожди. Повезло вам...

Много лет спустя прочитал в воспоминаниях писательницы Лилии Беляевой, автора примечательного романа о сахалинской жизни пятидесятых годов «Бессонница»:

«Мы были молоды и полны оптимизма, — цитирую по памяти. — Я работала корреспондентом молодежной газеты, ездила по городам и селам Сахалина, писала очерки, стараясь передать настроение и подъем обновляющейся жизни, как и все вокруг, искренне сочувствовала японским трудящимся за проливом. Ничего не зная о той жизни, наивно полагала, что тамошний отсталый народ чуть ли не на деревьях сидит, вглядываясь с тоской и надеждой в сторону нашего берега. Теперь-то я понимаю, что это мы сидели на деревьях, совсем об этом не подозревая...»

## ДВЕ ЖИЗНИ. ТЕЗИС И КОНЦЕПЦИЯ

Жизнь моя — концептуально и тезисно — оказалась разделенной на две части.

— Ты не думай, не так все просто, — открывал мне глаза поэт и радиожурналист Игорь Арбузов в Южно-Сахалинске. — Мы все, творческие люди, внесены негласно в специальный реестр как национальное достояние. За нами доглядывают, оберегают...

— Надо же, — изумлялся я. — И с какой же поры в этот список записывают?

— С момента первой публикации, — пояснял Игорь. — Вот напечатали человека в районной газете, и готово — внесен... Тебя-то давно уже туда вписали. Где у тебя была первая публикация?

— В газете «Пионер Востока», в Ташкенте...

— Вот с той поры ты и внесен...

— То-то у меня все так легко и складно получается, — соглашался я.

Наезжая в Южно-Сахалинск, вел я светскую жизнь: лекции, зачеты и экзамены, выступления, широкий круг общения с товарищами по перу... Иногда заходил к Арбузову на областное радио, где он работал. Мне нравилась его книжка стихов «Дальневосточная прописка», только что вышедшая во Владивостоке.

*Голландца нет.  
А был красивый миф.  
Когда в ночи,  
туманами сокрытый,  
он появлялся, мачты накренив,  
пластуя небо костяным бушпритом,  
свеченьем паруса расфосфорив,  
не шел он —  
плыл,  
раздумчиво печален.  
И в нарушение правил судовых  
колокола пугающе молчали...*

В ходе экскурсии, которую он как-то провел для меня, хозяева кабинетов в радиоредакции были чрезвычайно радушны. Распахивались дверцы рабочих столов, оттуда извлекались початые бутылки с вином и легкая закуска: печенье или карамельки. Водки в столах не держали.

— Крепкие напитки только после работы, — пояснил Игорь.

Уже тогда «зубрами» радиожурналистики считались Петр Шарухин, ребенком прошедший немецкий концлагерь, Галина Шарун, Ольга Игошина, Борис Плахтинский, долгожитель этой профессии Виктор Столяров и много другого славного народа.

Действительно, некоторых из них я видел вечерами в стеклянном кафе «Три брата», расположенном напротив телерадиокомитета.

— Так что, Коля, будь спокоен, ты под охраной государства, — заговорщицки подмигивал Игорек.

Быть все время под чьим-то доглядом не очень мне нравилось, и когда я возвращался в свою «провинцию у моря», в Горнозаводск, то чувствовал себя гораздо комфортнее.

В гости на СЮТ частенько заходили друзья-шахтеры — крепкие и жизнерадостные парни. Некоторые были родом с Кубани, и разгульные казацкие гены давали о себе знать.

— Антониныч, кому мы на х... нужны?! — спрашивал Михалыч, когда я в очередной раз отправлял его проверить, заперта ли входная дверь. И сам себе отвечал: — Никому мы не нужны!

Да я и сам, честно говоря, общаясь с друзьями-шахтерами, чувствовал себя выпавшим из всех списков и реестров. К тому же тезис Михалыча выглядел куда убедительнее, чем концепция Игоря Арбузова. И вся моя последующая жизнь, особенно в два последних десятилетия, подтвердила правоту моего «зама по тылу» и правильность того давнего ощущения.

Недавно Сергей Дмитриевич Ян рассказал, что в Корее все писатели: прозаики, поэты, драматурги, а также художники, скульпторы, умельцы-ремесленники — словом, все творцы-созидатели культурных ценностей считаются достоянием республики и внесены в соответствующие списки.

У одних — статус «достояние государства», у других — крупного города, провинции. Любое селение может объявить своего поэта или умельца «достоянием поселка имярек».

Всем им на разных уровнях выплачивают государственные субсидии и оказывают всяческую помощь и поддержку. Потому что они формируют и определяют лицо республики. К умельцам-мастерам ручной работы приставляются ученики, чтобы их искусство не пропало.

Видимо, это имел в виду мой дружище Игорь Арбузов. Но не про нашу честь, не в нашем царстве-государстве...

У нас сегодня, судя по телепередаче с таким названием, «достоянием республики» назначены рублевские «попсовичи». Это удобно, поскольку они ни в субсидиях, ни в помощи государства не нуждаются.

Но у меня была еще и третья часть жизни — домашняя. То, что «Антониныч из дома не выдергивается», знали все мои приятели и даже не пытались «доставать» меня в дому. Домашняя моя семейно-творческая жизнь была затворнической. По гостям мы не ходили и у себя приемов не устраивали. Хотя бывали и исключения из этого правила.

## ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ И СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Все чаще приглашали меня в творческие поездки по линии Бюро пропаганды художественной литературы. У истоков создания этой организации стоял Максим Горький, и возникло Всесоюзное Бюро в начале тридцатых годов для материальной поддержки писателей, которые получили возможность зарабатывать деньги своим трудом, в ожидании, подчас многолетнем, выхода очередной своей книги.

С предприятиями, учебными заведениями, самыми различными организациями заключались ежегодные договоры на обслуживание трудовых коллективов. А предприятиям и организациям ежегодно выделялись деньги на культмассовую работу. Сюда, кроме писателей, попадали лекторы общества «Знание», актерские гастрольные коллективы и просто походы на спектакли и концерты. Словом, деньги выделялись, и их нужно было расходовать.

Член Союза писателей СССР получал за выступление пятнадцать рублей, а не член — семь рублей восемьдесят копеек.

На Сахалине собственное отделение Бюро открылось в начале семидесятых, а до того — был уполномоченный Хабаровского Бюро. Первым директором стала детская писательница Людмила Степановна Сапрыгина, которая словно создана была для такой работы — не только толковый организатор, но и располагающий к себе человек. У меня с ней сложились очень хорошие отношения.

Бюро работало на хозрасчете по принципу: «не потопаешь — не полопаешь» и имело в штате, кроме директора, еще литературного сотрудника-организатора и бухгалтера. Организатором взяли недавно окончившую пединститут Ирину Михнову, дочь главного редактора телерадиокомитета, фронтовика, начинавшего войну в штрафном батальоне. Бухгалтером — юную девушку Галю, в будущем — жену поэта Валентина Богданова.

— Как?! Они еще и деньги за это получают? — удивился заведующий отделом пропаганды и агитации обкома партии Иван Васильевич Панькин, узнав о дея-

тельность Бюро. — Писатели за честь должны считать, что им дают возможность высказываться перед народом...

Впечатлений от творческих поездок хватало. В одной из них нас тепло принимали местные литераторы. После вечерних посиделок я взялся проводить до дома самую юную — старшеклассницу Тамару. Она тоже писала стихи. По дороге погуляли еще в маленьком сквере, и проводил я ее до самой подъездной двери. Следующим вечером все повторилось.

— Тебе от родителей не досталось, что ты вчера так поздно пришла? — поинтересовался я.

— Нет. Ведь я им все честно рассказала...

Последней фразе я не придавал значения. Посиделки продолжались и на третий вечер. А с ними и проводы Тамары. В этот раз я узнал, что у них честная татарская семья, а папа девушки — суровый военный комиссар района, подполковник.

В конце недели, грустная от предстоящей разлуки, Тамара сказала:

— Вчера семейный совет был. Дядя приехал из другого города...

— И что решили? — Я никак не мог сообразить, что дело касалось меня.

— Решали, как с нами быть. Дядя строгий очень, но сказал, что ты человек хороший, и если я полюбила, то могу выйти за тебя замуж.

— Так... — задумался я. — А дальше?..

— Папа сказал дяде, что ты женатый. Дядя сказал: «Ничего страшного! Разведем!..» Может быть, зайдешь наконец, познакомишься с родителями?..

— Нет, завтра мы уезжаем, и вообще — рано вставать...

В мои планы ни развод, ни новая последующая женитьба не входили. О семейном совете в доме у военкома рассказал Максиму с Голубевой — товарищам по командировке. Николай Иванович понял по-своему:

— Коля, не дрейфь! Если что, мы подтвердим, что ты у нас в номере безвылазно сидел...

Милая и простодушная девочка Тамара вспоминалась мне без всяких угрызений совести — ведь никакой лжи с моей стороны не было.

Примерно через месяц в пивбаре подошел ко мне с пивной кружкой мой дружище Челентано — Радик:

— Привет тебе от Томки, племяшки моей. Хотели тебя женить, да ловко ты вывернулся. Молодец, не наследил...

— Так ты и есть «строгий дядя» с семейного совета?!

— Ну да. Томка влюбилась в тебя. Брат вызвал телеграммой... Жаль, не удалось нам породниться...

Через год Радик доложил:

— Отправили Томку учиться во Владивосток. Все по тебе сохла...

Еще через год:

— Вышла Томка замуж в Приморье. До последнего говорила мне: жалеет, что не вышло у нее с тобой...

Тогда я подумал: «Да уж, такие они, детские влюбленности... Сам был таким...»

## ЦОЙ ДЕН РОК И ТУ-104

Творческие поездки не только материально поддерживали, но и стали хорошей жизненной школой. Помимо опробования на слушателях новых стихов, творческие встречи учили общению не только с читателями, но и с товарищами по перу.

Самым естественным образом устанавливались нужные дистанции в отношениях друг с другом.

Поэтому, если, к примеру, в противостоянии Лебкова и Максимова меня числили в лагере демократа Лебкова, то, общаясь в поездках с тем и другим, я вполне мог оставаться самим собой.

К середине семидесятых прозаик Максимов и его жена, фронтовичка Ольга Голубева, писавшая стихи, стали неработающими пенсионерами. А меня Невельское горно довольно охотно отпускало в такие поездки. Это были чудесные вечера — где-нибудь в Чехове, Томари, Углегорске или в Макарове — после насыщенного «выступательного» дня — разговоры о жизни и литературе у кого-нибудь в гостиничном номере или в ресторане.

Николай Иванович был уже как раз в том возрасте, когда, видимо, хочется, чтобы собственная жизнь выглядела достойно в глазах окружающих. Последних представлял я, если мы ужинали втроем.

— Родился я в Баку в 1911 году в семье учителя...

Но за рюмкой, ближе к окончанию вечера, менял свои показания:

— Да купец у меня отец был! Какой там учитель...

До войны он окончил в Свердловске трехмесячный учительский институт — были и такие, — преподавателем математики уехал на Чукотку. Память моя хранила недавнее приветствие Владимира Санги на его юбилейном вечере:

— В то время как советский народ, не щадя своих сил, сражался с фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной, Николай Иванович тоже не терял времени даром и самоотверженно собирал на Чукотке материалы для будущей книги...

На творческих встречах в ту пору Максимов читал отрывок «Жизнь без жизни» из нового романа: «В бараке, где жил Цой Ден Рок — худой, черноволосый юноша с испуганным взглядом, их, «осьминогов», было сто. Они спали на подстилках из рисовой соломы, рядами разложенных на земляном полу. Горящая вполнекала лампочка под стропилами, будто луна сквозь дымку, освещала мрачный барак...

...Спросонья Цою вдруг почудилось, что он находится среди мертвецов, что это трупы, которые стащили в барак и до погребения рядами разложили на земле.

— О, омони! О, мама! — в испуге прошептал он и отодвинулся от соседа, но тут сосед смахнул с лица таракана, страх прошел, сознание прояснилось, и Цой Ден Рок вспомнил, что он в бараке должников — в такобее, в «притоне осьминогов».

Осьминог — по-японски «тако» — в случае голода объедает собственные щупальца, пожирает самого себя. Должники в такобее проедают весь свой заработок, они, как осьминоги, «съедают самих себя». Идут годы, проходит жизнь, а долг не уменьшается. Наоборот, с каждым месяцем он становится все больше и больше... Война. Все дорого...» — и так далее.

Мне нравился этот отрывок, и совсем не надоело слушать его на разных выступлениях. Скоро я понял, что романа не существует и никакой это не отрывок, а просто — живописный рассказ.

Детей Максимов не любил и был о них как о личностях невысокого мнения. Однажды на встрече со школьниками, когда дети, наученные своим учителем, хлопали чуть ли не после каждой фразы, он не выдержал:

— Хлопать-то каждый дурак может. А вот вы попробуйте хоть что-то понять...

Рассказчиком он был очень внимательным, но излишняя детализация, видимо дорогая ему, слушателю иногда мешала. Он сам это чувствовал и вскрикивал иной раз по ходу рассказа — за ужином, разумеется:

— Все! Заканчиваю! Умолкаю!

А истории были у него колоритные, как и главный роман «Поиски счастья».

— Назначили меня, редактора районной газеты, общественным защитником в деле матросика, которого судили за антисоветскую пропаганду и агитацию. Якобы призывал он всех коммунистов вешать на столбах. Идет война, сам понимаешь, что ему светило: десятка, не меньше...

Не дал капитан обещанной увольнительной на берег, вот матросик и обиделся. Выпил водки из припасенного и пошел драить палубу. А тут капитан. Матросик ему: «Вот таких, как ты, коммунистов на столбах вешать надо!» И пошел, и понес — хаять строй и власть, — по заявлению капитана.

Спрашиваю капитана: «Как долго поносил матрос советскую власть?» Тот-то, дурень, думает, что чем больше, тем лучше: «Пятнадцать минут, не меньше», — отвечает. «И вы целых пятнадцать минут слушали это поношенье советской власти, вместо того чтобы властью капитана приказать бросить его в канатный ящик?! Значит, вы провоцировали матроса, подогревали, вызывали на антисоветские речи. А провокация у нас запрещена законом. Стало быть, и вы несете свою долю ответственности за его преступление...»

Дали матросику пять лет общего режима. Он меня потом спрашивает: «На кассацию нужно ли подавать?» Я объяснил, что на кассацию подать, конечно, можно. Но где гарантия, что тебе при новом рассмотрении не влепят по полной — десять лет, да еще и со строгостями? Это ведь здесь так удачно сложилось... «Понял», — сказал матрос, и повели его отбывать не самый великий срок...

Были у Максимова истории, связанные и с директорством в школе Порт-Артура. Однако хватало и недругов. Иначе откуда бы взялись слухам о том, что роман «Поиски счастья» украден и принадлежит другому автору или что в руки ему попали чужие дневники, которые послужили основой романа. Видимо, по примеру истории написания Шолоховым «Тихого Дона».

Как аргумент в пользу чужого авторства приводился тот факт, что ничего подобного больше ему написать не удалось. Роман о речниках Амура не стал даже слабым подобием «Поисков счастья», переизданных в СССР около десяти раз.

— Семушкин успел за своего «Алитета» получить Сталинскую премию. А указ с моим именем за «Поиски счастья» Сталин должен был подписывать десятого марта. Но пятого умер... — посетовал как-то Николай Иванович.

Считалось, что он переехал из Хабаровска на Сахалин, откликнувшись на призыв к советским писателям поэта Ивана Белоусова приехать в островную область, чтобы культурно и духовно осваивать новую землю, отвоеванную у японских оккупантов. Так же приехал сюда из Казахстана и поэт Ким Цын Сон.

В городе Чехове, заселяясь под вечер в гостиницу, увидели мы афишу с названием нашумевшего недавно фильма «А зори здесь тихие». Были мы втроем — Максимов, Голубева и я — навеселе и тут же потребовали свести нас с артистом, представлявшим фрагменты из фильма. Почему-то решили, что это исполнитель роли старшины Васкова.

Пока администраторша силилась понять, кто нам нужен, к ней обратился скромно стоявший в сторонке небольшого роста человек:

— Не беспокойтесь искать. Это — я...

Максимов водрузил на нос очки и, внимательно оглядев его, сказал:

— Не очень-то похож...

Но — назвался груздем — полезай в кузов — торжественно провозгласил:

— Приглашаем к нам в компанию — разделить скромный ужин...

— С удовольствием, — откликнулся артист. Видимо, в глухой сахалинской провинции чувствовал он себя одиноко.

— Только все-таки имейте в виду, — добавил он в ответ на бесцеремонное разглядывание и чуть ли не обнюхивание писателями, — в фильме я не играю, исполняю здесь текстовые отрывки из фильма...

— Ничего, сгодишься... Пошли к нам... — подвел черту Максимов.

Чудесный получился вечер, отменным собеседником оказался наш гость. Расходились глубоко за полночь, и на прощанье артист сказал:

— Не летайте год-два самолетами Ту-104. От знающих людей слышал: не стоит ими сейчас летать. Вот-вот заменят их новыми, большей надежности...

Ему самому в гастрольной жизни выбирать не приходилось, но вот счел все же необходимым предупредить малознакомых людей.

## «ЧАПАЙ», ПАССАР, САНГИ

Кроме Максимовых, мне часто случалось ездить в творческие командировки с Михаилом Финновым, Юрием Николаевым, Людмилой Сапрыгиной, Андреем Пассаром, детским поэтом Анатолием Дешиным, Иваном Белоусовым, Виктором Матковским, Владимиром Матросовым, Светланой Завьяловой, недавно переехавшим из Александровска-Сахалинского Олегом Кузнецовым и другими поэтами и прозаиками Сахалина. Обычный состав группы — четыре человека. Если в группе была Ирина Михнова, то писателей представляла она.

Андрей Пассар не так давно появился на Сахалине. Досужие языки судачили, что из Хабаровска его выжил Григорий Ходжер. Дескать, двум нанайским писателям в одном городе тесновато. Ведь каждый из них мог претендовать на звание первого.

Бывший фронтовик, он говорил, что Герой Советского Союза снайпер Александр Пассар — его брат. Но кто-то мне шепнул: «У них там все стойбище — Пассары. Поди, разбери — кто кому брат...»

Мы ехали поездом в Томари, и Пассар вступился за девушку, к которой приставал подвыпивший парень. На остановке он вышел, и только поезд тронулся — вдребезги разлетелось оконное стекло, возле которого, задумавшись, сидел Пассар. Чудом никого не поранило.

В тот раз он и без того был не в духе, а здесь и вовсе рассвирепел, хотел даже сдернуть «стоп-кран», но мы его удержали. А не в духе был оттого, что недавно поколотил тещу и она написала на него заявление в милицию. Семья у Пассара была новая, сахалинская.

— Каждый день приставала: «Почему на работу не ходишь? Такой здоровый бугай, дома сидишь. А дочка, худенькая, слабенькая, ходит на работу к себе в поликлинику». Я ей несколько раз объяснял, что у писателя рабочее место — письменный стол, а за неимением такового — кухонный. Нет, не понимает. Иди, говорит, ищи работу, как у нормальных людей. Так пристала, что пришлось поколотить...

В другой раз, сидя в теплой компании в гостиничном номере — проходил областной семинар молодых писателей, — когда автор заметок о природе Беньковский предложил: «Хотите анекдот про Чапаева?», Пассар отозвался: «Не хотим. Если начнешь рассказывать, я уйду...»

Позже он мне сказал: «Он потом всем будет рассказывать, что мы слушали анекдот про Чапаева...»

В семидесятых годах анекдоты про героев кинофильма «Чапаев» приобрели такую популярность, что родственники легендарного комдива, по слухам, обрати-

лись в Центральный комитет партии с просьбой пресечь глумление над памятью героя Гражданской войны.

Время было уже не такое, чтобы за анекдоты сажали. И собраний по этому поводу я не помню, но наверняка было указание на места: коммунистам насмешки над героями не поддерживать. Юрий Иванович Николаев даже стихотворение написал «в свете указаний партии», осуждающее анекдоты про «Чапая».

Пассар тоже был почти что сталинским лауреатом, и тоже Сталин умер, не успев подписать указ о присуждении первому нанайскому писателю Сталинской премии...

Дал он мне несколько подстрочников стихотворений с просьбой перевести. Коллеги шутили: «Пассар стихов на родном языке уже не пишет, а просто выдает подстрочники, чтобы переводчик писал стихи». Что-то я успел сделать, что-то так и осталось не переведенным мной.

Он много чего рассказывал о своей жизни, но поскольку был сказочником, не всегда выходило отделить правду от вымысла. Одно оставалось очевидным для меня — он из рода шаманов, и сам был тот еще шаман! Позже в Хабаровском крае, где жил, стал он известным травником-лекарем. Так мне про него рассказывали.

Санги с Пассаром не подружились, какая-то кошка между ними пробежала. И даже подрались в подпитии, по слухам, как-то в тамбуре поезда, не поделив девушку-попутчицу в смысле ухаживания.

Санги, на мой взгляд, выдающийся писатель — прозаик и поэт — и вообще уникальное явление в нашей культуре. Но как из захваленного самолюбивого юноши он превратился в серьезного мыслителя, философа — это еще одна из загадок бытия.

Самовлюбленный юноша, он в одной из самых живописных своих повестей «Изгин» создал свой портрет: «Вскоре и Изгин услышал его. Сам признанный сказитель, он поразился обилию ума, вложенного в те немногие слова, что составляют стихи. Поразился звучности этих слов, их стройности и зримости. Многие стихи поэта были одеты в мудрую печаль. Такое могли говорить уста лучших шаманов, которых Изгину доводилось видеть в годы своей юности...

Но вот однажды увидел Изгин: на берегу собралось несколько неводников с рыбаками и среди них — кто-то в белой рубахе. Вышел старик полюбопытствовать, что заинтересовало столь солидных людей. И услышал неповторимое: казалось, само море вдруг обрело язык и заговорило с людьми — поэт читал стихи. А вокруг тишина. Даже слышно, как пена шуршит о борта лодок. А поэт стоял на груди невода, широко расставив ноги. Левая рука его энергично согнута, а правая в такт стихам делала круговые движения, будто поэт вращал что-то тугое. Поэта подхватила большая внутренняя сила, и казалось — вот-вот он взлетит. Поэт читал стихи о волне...»

Жизнь Санги, думаю, состоит из двух главных этапов. Первый: детство, взросление, учеба в Ленинграде, начало творческой работы, первые книги, жизнь и работа в Москве... Второй — после возвращения на родовые земли в 1996 году. Он вернулся на Сахалин человеком, узнавшим цену многому в мире, человеком несуетным, понимающим других людей, — настоящим вождем своего народа. Но оценить его такого среди соплеменников уже почти некому.

В первой части своей жизни он говорил:

— Если человек прожил на Сахалине пять лет, то я могу с ним уже поздороваться кивком головы. Если десять лет — подам ему руку...

Игорь Арбузов посмеивался:



— Заговорили недавно о писательских званиях. Я сказал: «Ты, Володя, в литературе, наверное, маршал...» Он на полном серьезе подтвердил: «Конечно, маршал...»

Репин, вернувшись как-то с писательского съезда, куда был приглашен в качестве гостя, рассказывал, удивляясь, как столица меняет людей:

— Встретил Володю Санги в гостинице на этаже. Пойдем, говорю, Володя, посидим в буфете, я угощаю... А он мне в ответ: «Я теперь, Боря, не со всеми выпиваю...»

## ПИСАТЕЛЬСКИЙ «ПРИРАБОТОК»

Было у писателей еще приработок кроме выступлений — заказы написание внутренних рецензий для издательства. Платили за рецензию тридцать рублей. Заказ есть заказ. Но здесь многое зависело и от стойкости рецензента.

В 1971 году Санги писал внутреннюю рецензию на рукопись моей книги стихов «Красный ветер». В ней были такие оценки: «Не будем умиляться способностью автора оперировать иносказательностью, уходить в дебри аллегорий... и зададим автору совсем не мистический вопрос: каких это драконов он высмотрел? Кого это он собирается одолеть? В огромном большинстве стихов Н. Тарасов кричит в безысходном надрыве или зловеще обещает... В огромном количестве стихов Н. Тарасов воюет в каких-то, казалось бы, абстрактных войнах... Во имя чего воюет автор? Во имя добра? Так почему же он покидает древнерусского богатыря Добрынюшку («Сказка с лирическими отступлениями»), чтобы походя выхолостить то истинно русское, без чего нельзя представить Русь, — героическое начало!.. Но Н. Тарасов идет дальше. Он отвергает реалии, на которых зиждется сама наша действительность... Нет, т. Тарасов! Никто вам не позволит вычеркнуть Первую Конную! Она была, есть и будет нашей иконой! И зря вы утверждаете, что «нам Время все перевело». Первую Конную, как и саму революцию, нельзя «перевести»... Н. Тарасову не по душе тот ветер, который сегодня катит по материкам... Но зато Н. Тарасов признается:

*Из-за тридцати земель,  
Из-за тридцати веков  
Каждый вечер я слышу музыку  
Легче перистых облаков...*

Сие, конечно, личное дело Тарасова. Но нового ветра (пусть даже с условным красным названием) не будет... Не мешает заметить, что в ряде стихотворений автор добивается напряженного психологизма... Но в своем стремлении к экспрессии автор теряет меру. И тут его поджидает другая беда — грубый натурализм... Но эти беды, по сравнению с вышеназванными, — мелкие. От них можно избавиться...»

Такие вот выдержки. Вся рецензия на пяти страницах с росписью директора издательства Максимова: «Верно». Понятно, что это чистейшая «заказуха». Так же, как и написанная в те же дни рецензия приехавшего на областной писательский семинар прозаика (!) из Хабаровска Владимира Русскова. Однако гость, выполняя «заказ», был менее кровожадным, чем наш земляк:

«О Николае Тарасове, как о поэте одаренном и своеобразном, мне пришлось слышать еще в Хабаровске, но с его стихами я познакомился здесь, при обсуждении их в писательской организации. Они заинтересовали меня своей

свежестью, оригинальностью и какой-то необычностью. Порой создавалось впечатление, что слушаешь красивую песню, которую поют на чужом языке... Я увидел интересного поэта, наделенного крепким даром поэтического видения мира и трудолюбивого... При всей своей слаженности и внешней прочности некоторые стихи настораживают или нарочитой многозначительностью, или странностью авторской позиции к описываемым событиям, или, я бы сказал, чуть ли не космополитическим видением окружающего... Как понимать все это? Может быть, как неудачно сложившиеся строки? Или как твердо устоявшуюся позицию? Скорее всего, второе. Ведь многие стихи поэта наполнены и безысходной скорбью, и черной трагичностью, и болью отчаяния. Поэт имеет право на такое, но для первой большой публикации неплохо бы пришлось стихи прямого гражданского звучания... В целом я высоко отношусь к творчеству Николая Тарасова и буду рад, если мои замечания в какой-то мере будут полезными в его дальнейшей работе над рукописью...»

При двух таких рецензиях с обвинениями идеологического характера про издание этой книги пришлось забыть.

В 1975 году я представлял Сахалин на VI Всесоюзном совещании молодых писателей. Брат Андрей, в тот момент приморский собкор «Комсомолки», специально продлил командировку, дожидаясь меня в гостинице «Юность». К нему зашел его приятель, алтайский собкор Дима Горбунцов, который, по словам брата, всегда «падал на хвост», кто бы и куда ни направлялся. Вскрик: «И я с вами!» — Димина визитная карточка.

Дима вписался в нашу компанию. В таком составе мы очутились в гостях у Санги на Киевской набережной. Он сам позвонил в гостиницу, выяснил, кто делегат, и пригласил к себе домой. Расстаться с братом мы не могли и поехали к Санги все вместе.

Хозяин с печатью усталости на лице возлежал на медвежьих шкурах. Жена объяснила, что все время приходят гости, которых он на шкурах принимает, и время от времени здесь же спит.

Нас тоже усадили на шкуры. Мы достали гостевой запас, который ввиду позднего времени добыли с огромным трудом, подкупив по дороге уборщицу в гастрономе.

— Кого это ты привел? Комитетчиков? — спросил Санги, перемещаясь из положения «лежа» в положение «сидя».

Представление Андрея как моего родного брата он счел за рассказни и был поражен, когда я показал ему братьев паспорт. Наши отчества — черным по белому — места сомнениям не оставляли.

— А это кто тогда? — показал он на Диму.

— Тоже брат. Но только двоюродный, у него фамилия другая, — не промедлил я с ответом.

Усомниться в нашем родстве хозяин уже не решился.

Помню, по ходу вечера он жаловался, что в Москве чувствует себя неудобно, что скучает по Сахалину, что болеет без привычной пищи, без рыбы...

Мы славно посидели и ушли, когда хозяин снова уснул на своем медвежьем ложе.

Кажется, брат именно с той поры совершенно перестал употреблять алкоголь и вскоре бросил курить. Даже когда работал обозревателем по космосу, выдерживал банкетные натиски коллег и космонавтов, подозревавших в любом непьющем — стукача.

В замечательном очерке Владимира Федоровича Матросова «Тропой своего народа» Санги более подлинный, нежели в давней своей рецензии на мою рукопись.

«Однажды при застолье поэт Андрей Пассар расхвастался: «Наш род Пассаров ведется от маньчжурских императоров!»»

«Где они, твои императоры? — усмехнулся Володя. — В могильниках истории...»

Андрей отмахнулся: «Вы, нивхи, проспали свою историю!»

«Ничего мы не проспали. — Володя глянул из-под черных бархатных бровей и горделиво вскинул голову. — История нивхов насчитывает двадцать тысяч лет! Русских на земле не было, французов, немцев, а мы, нивхи, населили Ых-миф. И сквозь тысячелетия пронесли свои первобытно-родовые отношения, а с ними и свою культуру!»

Он помолчал, и глаза его увлажнились печалью. «Все перепуталось с нашествием чужаков. Нас, нивхов, они объявили отсталыми, не сознавая своей отсталости в понимании и восприятии иных культур. Они пришли, как говорят русские, в чужой монастырь со своим уставом. Стали покорять природу, а заодно и нас втискивать в какую-то общность народов, сдирая национальные традиции, обычаи, память о прошлом... Нас сгоняли с родовых стойбищ. Колхозы, совхозы, культбазы, родовые отношения — все перемешалось! Но историю мы не забыли. Она с нами. И память в народе жива!»

Заканчивает Матросов свой очерк лирической зарисовкой:

«В один из зимних вечеров мы собрались на кухне у камина. Жарко потрескивали дрова. Огонь высвечивал блики на лицах. Поэт Виктор Матковский, примостившись с гитарой на бочонке, напевал свою новую песню о перелетных птицах. И когда гитара отзвенела, за окном раздалась посвисты вьюги. Володя, откинувшись в кресле, прислушался и стал вспоминать детство. Голодное детство. Мужчин забрала война. Без добытчиков стало совсем плохо. Зимой бураны заносили избушку так, что выбирались из нее с трудом. А выберешься — кругом белая пустыня. Сколько снег ни копай, а и хвоста рыбьего не достанешь. Долгими зимними вечерами голод не давал заснуть. И тогда бабушка или мать рассказывали сказки. Они знали много чудесных сказок.

— Пушкин тоже восходил от няниных сказок, — заметил Матковский и стал читать стихотворение «Зимний вечер».

— Пушкин! — с глубокой сердечностью и теплотой произнес Санги. — Какой великий поэт, всенародный! Хотел бы и я стать Пушкиным для своего народа...

Прошли годы, и теперь можно сказать: Владимир Михайлович стал им, основоположником новой литературы, народным мыслителем и проводником на тропе жизни...»

Думаю, в этом очерке Матросовым создан один из самых правдивых портретов Владимира Санги. Они дружили многие годы, и, как заметила Зинаида Гиппиус, когда человека любишь, то видишь его таким, каким его задумал Бог...

А рецензия, ну что ж рецензия... Всякое бывает в нашем творческом деле... Кстати говоря, в последующие годы нарывался я на рецензии и покруче. Одна из них — просто «песнь песней», заказ выполнял уссурийский доцент — некто Вольпе. Мне даже на руки рецензию не выдали, разрешили только почитать. Но удалось списать отрывок:

«Он видит мир оттуда, «где полета нет», «где бесконечны февраль». Он ощущает себя уже ушедшим из брэнного мира и ждет того момента, когда «два подорожника в росе» ему «на глаза положит кто-то». От них (стихов) веет безнадежностью и унынием. Несчастливы, чем-то придавлены многие персонажи...

Болезненные ассоциации вызывают у Н. Тарасова и картины живой природы. Философия автора явно не в ладах с жизнеутверждающей материалистической философией нашего времени...

Всем известен оптимизм бывших фронтовиков. Как один из бывших фронтовиков, седой, но вовсе не печальный, хочу заверить Н. Тарасова, что ни я, ни кто из моих товарищей в наше время — время оздоровления международного климата — «от каждой пасмури» вовсе не болен «предчувствием беды»...

Все примеры свидетельствуют о том, что философия автора сборника, как бы поделикатнее выразиться, странноватая философия... Автор, видимо, живет в далеком прошлом...

Пытаясь в духе примитивного анархического субъективизма осмыслить настоящее, Н. Тарасов с тех же позиций подходит и к осмыслению прошлого... История у него отрицает всякую последовательную рационалистичность своих деятелей. Стихийно проявляющаяся классовая ненависть мужика к барину — вот и все содержание истории («Баллада о топоре»). Роковой вопрос тысячелетий звучит с завидной отчетливостью: «А в рыло хошь?»

Автор нередко лепит образы, связанные с религиозным обиходом... Трагедия освободительной революции только как продолжение стихийного мужицкого бунта... Концепция автора нам ясна.

Я много раз внимательно перечитал его стихотворение «Но вот турбинами натужно заговорил промерзший Ту...» — одно из самых современных произведений сборника, пытался уяснить себе, в русле какой философской системы оно рождено. Что это? Деизм? Или откровенный идеализм?..

Что такое жизнь? Тоскливое ожидание смерти. Труд? Бесмысленный, никому ничего не дающий процесс...

В стихотворении «Садовник» вывод подается в лоб, автор обходится без столь модного ныне подтекста... Труд не нужен, он противен природе и самому человеку. Точка поставлена. Взгляды автора ясны...»

Позже мне самому пришлось написать не один десяток внутренних рецензий. Многие по заказу Хабаровского книжного издательства. И как-то удавалось не идти на поводу у мнения издательства. А уж делать упреки идеологического характера — всегда было для меня за гранью приличий.

## **КИМ ЦЫН СОН. БАСАРГИН. РАБЕКО. МАТКОВСКИЙ**

Помню теплую творческую встречу в санатории «Горняк» неподалеку от Южного. Место для санатория было выбрано очень правильное: в пихтовом лесу, на склоне сопки. Там лечился после тяжелого инсульта поэт Ким Цын Сон. Я собирался с самого приезда увидеться с ним. Во-первых, привез ему привет от ташкентского поэта Бориса Пака, во-вторых, хотел переводить его стихи. Книжка стихов «Пылающие листья» представляла его как очень интересного и своеобразного поэта.

В санатории меня к нему подвели жена и дочь. Он плохо передвигался и говорил с трудом, больше мычал, пытаясь произнести слово. Я рассказал ему о Паке, которого он знал по Алма-Ате, откуда и сам приехал на Сахалин. Расстались тепло, с надеждой на новую встречу при лучшем самочувствии Кима.

Вскоре после санатория он умер. Говорили, «Горняк» вообще ему был противопоказан при таком заболевании. В день похорон Ким Цын Сона меня направили проводить творческие встречи в двух пионерских лагерях с гостями, приехавшими из Владивостока: известным дальневосточным прозаиком, автором книг «Черный дьявол», «Волчья ночь», «Дикие пчелы» и других Иваном Басаргиным и поэтом Игорем Рабеко.

Басаргин был сплошной борода, а поэт — подтянутый и даже спортивный ветеран Отечественной войны.

Мы вышли из подъезда писательской организации на улице Комсомольской в тот момент, когда черный котенок заканчивал описывать круг вокруг черной писательской «Волги». Я, памятуя деревенскую тети Надину науку, заплелся через левое плечо, советуя всем сделать то же самое, но гости подняли меня на смех:

— Такой молодой, а с предрассудками...

— Ладно, — сказал я. — Будут вам предрассудки...

Выступать мы ехали сначала в «Сахалинский Артек», что на реке Лютоге. Но добрались туда с небольшим опозданием — меняли в дороге проколотое колесо.

У ворот нас не встретили, потом дежурные пионеры не хотели нас пропускать на машине, а воспитателей мы все не могли найти. Пришлось идти от ворот пешими.

В итоге Басаргин выступать наотрез отказался и сидел обиженный в беседке, пока мы с Рабеко читали стихи на открытой площадке. Ветеран войны мне очень понравился: и стихами, и тем, как уверенно держался на публике.

Чтобы попасть на следующую встречу в пионерлагерь, нам нужно было пересечь долину. Грунтовая дорога оказалась не ахти какая, но главную опасность представляли собой въезды на мостики рек — там, среди рытвин, торчали арматурные штыри, а из брусьев — железные скобы.

После одного такого въезда-выезда пришлось остановиться: за «Волгой» тянулась масляная дорожка. Водитель все же решил проехать хотя бы до асфальтовой трассы, но опять прокололось колесо, а запасы больше не было.

Ему удалось остановить грузовик и договориться, чтобы нас довезли до шоссе. Оттуда, уже на легковой попутке, мы добрались до города.

— Вот вам и предрассудки, — сказал Рабеко, а я деликатно промолчал.

Запыленные и злые гости отправились на поминки по Ким Цын Сону, а я на вечерний поезд в сторону дома.

Рассказывали, что Витя Матковский читал на кладбище стихи на смерть Ким Цын Сона и хватил через край. Встав на колени и вцепившись в бортик гроба, с рыданиями обратился прямо к покойнику, упрекая того в столь раннем уходе, отчего в мире стало темно и грустно. Зная Витину экспрессию, можно было представить себе, какой душераздирающей была эта сцена...

Матковский, на мой взгляд, был уникальным импровизатором, способным ассоциативно «улетать в космос». Но иногда он высказывался — хоть стой, хоть падай! Говоря однажды о Марке Бернесе, он вполне серьезно и даже с болью поделился:

— Дураки они все. Ведь можно было под землей, у него в могиле, установить магнитофон какой-нибудь, а наружу провод с динамиком вывести, будто сам Бернес поет и не умер вовсе. Вот здорово было бы!..

В другой раз Матросов рассказывал, как Витя прибежал к нему, заполошный, с просьбой срочно дать ему для изучения книгу про «мужика, который родился обезьяной, но слез с дерева, стал трудиться и превратился в человека». Витя тогда начал заочно учиться в пединституте, и Матросов сообразил, что речь идет о работе Фридриха Энгельса.

Словом, с ним было весело. В семидесятых он преподавал музыку в педучилице, и здоровье еще позволяло ему иногда выпивать с друзьями.

— Смотри, не влипни в педерастию! На тебя наверняка кое-кто глаз положил. Выбраться из этого потом очень сложно...

— Да что ты?! — пугался я, давясь пивной пеной, поскольку в этот момент мы стояли с кружками у пивной цистерны. О подобном я слышал только в анекдотах, а тут — вот так сразу, без подготовки.

У него была трудная жизнь: послевоенный беспризорник, отсидевший в тюрьме в те годы, — об этом написал он позже повесть, которую мы в постперестроечные времена сумели опубликовать в литературно-художественном сборнике «Сахалин».

Но в середине семидесятых случилось так: по проспекту Победы в белом костюме, в оранжевых штиблетах, с дорогим кейсом в руке шествовал с работы Виктор Григорьевич Матковский. А я, приехавший по делам из Горнозаводска, спускался по тому же проспекту, может быть, из издательства...

— Витя!

— Коля!

Хором:

— Как я рад!

— Ну что?!

— Да надо бы...

— Только мне на минутку нужно заскочить домой, — говорил Витя. — Здесь, рядом...

Я останавливался у дома, где он снимал комнату, и Витя выходил преображенный: в затертом сером пиджаке, в таких же брюках с салными пятнами...

— Запойный мой костюмчик, — пояснял поэт, и мы шли по его маршрутам на какие-то свадьбы, дни рождения или просто в теплые компании в бараках южно-сахалинского «Шанхая». У него было полно друзей-музыкантов, и скучать нам не приходилось.

В его историях тоже трудно было отделить правду от вымысла, как у сказочника Пассара. К примеру, о том, как они ездили с приятелем на юг и перед заходом в море закопали на пляже деньги, обратные билеты, документы, потому что «жулики из кустов в бинокли наблюдают — кто, что, куда положил».

— Вышли из моря и не можем узнать место, где сделали схрон. И выпили-то совсем немного. Принялись искать-копать. Мужичок увидел, заинтересовался, лопатку нашел, тоже начал перекапывать пляж... Еле отогнали. Но пришлось на пляже ночевать, караулить место. Только утром на свежую голову нашли свой пакет...

Рассказывал он очень выразительно, изображал и жуликов с биноклями, и мужичка, как бы разыгрывая сценку, вращал глазами и менял голос от шепота до плача.

Он жил мальчишкой в оккупации, и очень жалостливо звучала история о том, как немцы заманивали малышню конфетами и шоколадом.

— Нам скажут снаряды таскать, ну мы за шоколадку и стараемся. Обнимешь снаряд и тащишь к пушке. Ничего же не понимали — где наши, а где не наши. А немец холеный, сытый, плеткой подбадривает...

Со слов очевидцев гуляла быль о том, как Виктор Матковский разводился с первой женой. Точнее, развод уже был оформлен, и судились они на предмет выселения одного из супругов. Заявление подала жена. В нем Вите вчинялись ночные приходы друзей, девушки, пьянки, нецензурная ругань... Свидетели со стороны заявительницы, соседки по этажу, подтверждали: все так и было.

Но, когда вышли сизоносые свидетели со стороны ответчика рассказать, какой Витя ангел, и каждый из них по очереди представился: Чекушкин, Рюмочкин, Черпаков, судьи и зрители зашлись в хохоте. Дело, говорят, Витя проиграл и из квартиры выехал.

Его художественные достижения в области поэзии всегда были весьма спорны. Не хватало грамотности, мешали украинизмы... Но ведь это все-таки Матковский сказал-написал то, что сегодня приходится то и дело повторять:

*Истинных ценителей искусства  
Меньше тех, кто создает его...*

## ПЕРВАЯ КНИЖКА. ИРКУТСКИЕ ВСТРЕЧИ

На областном писательском семинаре познакомился я с новым редактором издательства — детским писателем Олегом Кузнецовым. Моложавый, с белобрысым ежиком, писатель приехал из Александровска-Сахалинского, где работал в последние годы редактором районной газеты. Он был обижен, говорил, что приглашали его с намеком на должность директора, а работать пришлось редактором.

Не так давно он окончил высшую партийную школу в Хабаровске, то есть стал номенклатурным партийным работником и имел все основания рассчитывать на высокую должность.

Новый редактор поделился радостной вестью: всю идет работа над поэтической кассетой «Близкая сердцу земля», где запланированы книжки сразу нескольких поэтов — А. Мандрика, В. Богданова, В. Кольцова, Б. Репина, В. Матковского...

— А почему моей книжки нет? — спросил я. — Мне бывший директор издательства Максимов отписал по рукописи, что, как только затеется издание поэтической кассеты, моя рукопись будет включена в нее...

Олег Павлович смешался, покраснел, понял, что проговорился, расхвастался не там, где надо...

— Про тебя я ничего не знаю... Вот всё, что есть утвержденного в издательстве на сегодня... Зайди завтра, узнаю, что можно сделать...

Назавтра он выглядел поуверенней, чем при расставании накануне.

— То, что в твоей рукописи, не подходит для кассеты. Там у тебя много стихов, которые цензура вряд ли пропустит...

— Что за цензура?

— Ну, облит. Там строгие люди очень внимательно все читают...

Так я впервые столкнулся с враньем о «свирепой» цензуре, которая все читает и никому спуска не дает, вымарывая из рукописей целые страницы... На самом деле, «все читали» в отделе пропаганды и агитации обкома КПСС. Оттуда они любили вмешиваться именно по идеологическим мотивам в стихи и прозу земляков. А цензура, о чем я узнал гораздо позже, контролировала соблюдение запретов, установленных министерствами и отраслевыми ведомствами на сведения о тех или иных аспектах собственной производственно-экономической деятельности.

— Вот, к примеру, у тебя стихотворение о конях: «Ну и кони! Закусили удила...». Ведь очень легко могут привязаться. Там у тебя:

*И глядят, глаза прищурив, как сквозь дым,  
Вслед промчавшимся куда-то молодым...  
Ну и кони! Ну и кони! Пролетят  
И ни разу не оглянутся назад...*

Могут сказать, что здесь заложен конфликт между старшим поколением и молодежью, «отцами» и «детьми». Сейчас в литературе писатели молодежной темы раздувают этот конфликт. Словом, эта рукопись не пойдет.

— Сколько у меня есть времени на замену рукописи? — на всякий случай спросил я.

— Недели две, не больше...

Через неделю я привез новую рукопись. За это время «наваял» стихотворений тридцать: о природе, о рыбаках, о маяках — словом, по принципу: пою то, что вижу... Половина из них и стала книжкой «Малиновое лето». А такой душещипательный «шедевр», как «Мать рыбака», очень тепло принимался слушателями на

выступлениях. Это отчасти компенсировало чувство неловкости и стыда за него, и вообще — за книжку. Особенно на первых порах.

«Мать рыбака» стало одним из любимых у мамы. Наряду со стихотворением «Весь берег Сахалина малинником покрыт...». До последних дней своих она в лирические минуты декламировала оба этих стихотворения.

— Вот видишь, Колюша, как помогло твое стихотворение про малину людям. Никто не хотел ехать на Сахалин. А когда прочитали, что там полно малины, все туда ринулись... — так поясняла в новые уже времена девяностолетняя мамочка прикладное значение «Малинового лета».

Заходил к новому редактору, как мне сказали, и Андрей Пассар, которому я пожаловался на издательство. Он заступился за меня:

— Смотри, Олег, ты ведь в Союз писателей собираешься вступать. Если не издашь Тарасова в кассете — будет тебе Союз!

Книжка вышла, но радости почему-то она не принесла.

Однако благодаря ей меня направили в 1974 году на Иркутское совещание молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. Поехал же я туда благодаря новой рукописи, которая прошла отборочный конкурс. От Сахалина были еще двое: прозаик Евгений Баранов, журналист из газеты «Молодая гвардия», и поэтесса, музыкальный работник детского сада Светлана Завьялова.

Жили мы в гостинице «Сибирь», а штаб совещания находился в «Ангаре» — гостиницы располагались друг против друга.

— Ой, смотри, Симонов! — вскрикнула Света, когда мы зашли в штабной номер. — Ой, Шукшин! — снова ойкнула она.

Там было много известных писателей, приехавших руководить творческими семинарами: Виль Липатов, Виктор Астафьев, Марк Соболев, Владимир Соколов и другие. Только «Симонов» при ближайшем рассмотрении оказался Владимиром Яковлевичем Шорором — куратором от Союза писателей СССР, милейшим и заботливым человеком. Он был прозаиком и позже, в Москве, подарил мне свою книгу рассказов.

А «Шукшиным» оказался куратор от ЦК комсомола и сам поэт — Василий Шабанов. Шукшина он, правда, чем-то напоминал, но взгляд у него уж точно был артиста Крамарова.

— Главное, ребята, в стихах — это юмор! — на бегу наставлял он нас, встретившись где-нибудь в коридоре.

Уроженец саратовского села, журналист тамошней «молодежки», после поездки в составе комсомольской делегации в Чехословакию взятый на работу в ЦК ВЛКСМ, — каких он на самом деле «кровей», стало мне понятно, когда я услышал его стихотворение «Вратари»:

*...Стареем мы. Старееет тело.  
И мы когда-нибудь умрем.  
Но до конца я быть хотел бы  
Твоим, Россия, вратарем!*

Он тоже был очень славным человеком: заботливым и компанейским. Через год мы встретились на VI Всесоюзном совещании в Москве, где он так же хлопал молодых поэтов по плечам и напоминал:

— Юмора, ребята, больше в стихах, юмора!

А в конце сентября того же года, готовя в Ашхабаде Всесоюзный фестиваль молодых поэтов и прозаиков, сел в машину с местными писателями и поехал с ними в сторону Кизил-Арвата.



На одном из участков шоссе их остановил солдат с автоматом. Вышедшего из машины местного писателя Юрия Рябинина он перерезал очередью, которая разнесла и стекло автомобиля. Погибли все.

Потом говорили, что тот служивый сидел на гауптвахте, когда с гор пошел сель, едва спасая, блуждал по пустыне, от пережитого сошел с ума и вышел с оружием на большую дорогу...

Радостный был человек Василий Шабанов, потому, наверное, и запомнился мне.

## «ПО АНГАРЕ, ПО АНГАРЕ»

Иркутское совещание стало ярким событием в литературной жизни страны. Его даже сравнивали с Читинским, десятилетней давности. Тогда заговорили о сибирской прозе и драматургии — Распутин, Шугаев, Вампилов... Здесь же открытием стала сибирская и дальневосточная поэзия — Кобенков, Аксаментов, Горбунов, Еращенко...

Прозаик из Барнаула Поташин вечером на посиделках в чьем-то номере прошептал мне на ухо:

— Название придумал для повести — закачаешься: «Горе луковое»...

Утром, помятый и испуганный, допытывался:

— Я тебе ничего про название не говорил?

— Не-а, — мотал я головой.

— Воруют ужасно, — вздыхал он. — А название придумать хорошее — это самое трудное...

Чудесный поэт, чабан из алтайских предгорий, Валерий Майнашев пролежал почти весь семинар в номере, сраженный алкоголем. Будущий руководитель Хакасской писательской организации открывал глаза лишь для того, чтобы нащупать на тумбочке стакан и влить в себя дозу. Он успел нам прочитать лишь стихотворение о крапиве, но этого хватило, чтобы оценить его как поэта.

Однако не только семинаристы, но и руководители семинаров «выходили из строя». Великий лирик двадцатого века Владимир Соколов показался только на открытии, на пленарном заседании, и неделю провел в номере, никуда не выходя.

— Он меня выгнал, когда я к нему зашел, — жаловался Юрий Аксаментов.

Главным на Совещании был Виль Липатов. Он произвел впечатление большого человека из-за огромных мешков под глазами. У всех на слуху была его повесть «И это все о нем» и фильм с таким же названием, а также повесть «Серая мышь» — о том, как спивается провинция.

Анатолию Кобенкову, поэту из Ангарска, я привез привет от моего горнозаводского приятеля, его «корешка» по службе в армии — Виктора Ли.

— Как там Витенька? Все философствует? — спросил Кобенков.

— Нормально философствует. С лопатой совковой по городу ходит, поскольку трудится в стройуправлении, и философствует...

О Викторе Ли еще будет разговор, но в ту пору будущий народный доктор мануальной терапии действительно ходил на работу и с работы в черном запыленном комбинезоне и с персональной совковой лопатой на плече.

Познакомились мы и даже подружились с ершистым «рыжиком», поэтом из Хабаровска Витей Еращенко. На моем обсуждении он сказал про «Царя»:

— Мастером написано. Добавить нечего...

Меня это удивило, потому что сам он был поэтом совсем другого, чем это стихотворение, склада, может быть «глазковского» даже...

Читинский поэт Михаил Вишняков тоже высказался:

— Твой Аввакум покруго моего будет...

Все это мелко тешило мое самолюбие. Но главным было то, что у меня значительно расширился круг общения с «себе подобными».

Руководителями моего семинара были: очень «мастеровитый» столичный поэт Алексей Смольников и «звезда Бурятии» поэт Николай Дамдинов.

Первый на моем обсуждении сказал:

— Когда мы прочитали книжку про малину, то засомневались — надо ли приглашать ее автора сюда. Но, слава богу, подоспела рукопись, и сомнения отпали...

Дальше он «наехал» на два моих стихотворения о Пушкине, и Дамдинов мне потом сказал:

— Не слушай его. У него самого написан целый цикл о Пушкине, вот он и ревнует. А вообще это я тебя забрал в свой семинар. У тебя есть очень хорошие стихи типа «Осеннего пляжа»...

Он пригласил меня в свой номер, где мы попили чаю, познакомил с женой. Оба они были бурятами так называемого европейского типа, с тонкими чертами лица. Ему было сорок два года, и он уже считался классиком национальной литературы. Переводчиком многих его стихов был Евтушенко, с которым они учились вместе в Литературном институте.

— Меня только недавно перестали в молодых числить...

На тот момент он являлся главным редактором журнала «Байкал», и меня потом несколько раз в нем печатал. Впоследствии он стал председателем Союза писателей Бурятии, а еще позже занимал высший пост в республике — был председателем Верховного Совета Бурятской АССР.

Зашел в номер и тогдашний председатель Союза писателей Бурятии — луноликий Дамба Жалсараев, народный поэт, будущий министр культуры. Он был как раз бурятом противоположного, монгольского, типа. Он сразу налил мне полстакана водки, и, присев на чужую койку, мы выпили за все хорошее. Почти сразу после этого председатель улегся «луной» к стенке.

Дамдинов намекнул, что не прочь бы видеть меня в Улан-Удэ...

«Республике нужны переводчики», — догадался я.

Меня включили в группу молодых поэтов для выступления в главном поэтическом вечере, который проходил в городском цирке.

Вел вечер поэт Марк Соболев. Входя в арену, он зацепился лакированным носком ботинка за ковер и пролетел весь радиус до центра на полусогнутых ногах, в обезьяньем полуприсяде. Но в центре сумел разогнуться и произнести: «Добрый вечер, товарищи!» Все-таки, как и подобало фронтовику Великой Отечественной, не уронил себя в опилки, и я за него порадовался.

«Весь вечер на манеже — Марк Соболев», — шутил потом народ.

Я читал «Осенний пляж». Юра Аксаментов сказал:

— Тебе еще долго можно «плясать», как от печки, от этого стихотворения.

В газете «Восточно-Сибирская правда» появились фотоснимки с того вечера, один из них, с полупрофилем выступающего, подписан: «Выступает Николай Тарасов». Когда я потом показал газету брату, захавшему в Горнозаводск, он сказал: «О, Слава Пушкин!»

— Как Пушкин? — заволновался я. — Там же подписано: «Николай Тарасов»...

— Подписано, что ты, а вижу я Славу Пушкина...

Я всмотрелся, и действительно: полупрофиль вроде бы мой, а водолазка на выступающем не моя. Пришлось признать: глаз у брата наметаннее моего...

Веселая северянка, основательница «долганской литературы» Огдо Аксенова, в быту просто Дуся, в застольях охотно читала по «заявкам» товарищей:

*Муз с зеной, сто цаска с лозкой.  
Станес цаем угоцать, —  
Убедисса — невозможно  
Дребезанья избезать...*

С Николаем Гармаевичем Дамдиновым мы переписывались несколько лет, но в Улан-Удэ меня так и не потянуло.

По ходу Иркутского совещания запомнились две творческие поездки: в Усолье-Сибирское и в Ангарск. Последний показался мне ужасным городом, поскольку там отсутствовала нормальная атмосфера. Из труб комбината валили оранжевые и зеленые дымы. В городе стояла вонь, словно мы находились в задымленном цехе. Нам дарили подарки: папки для бумаг, блокноты и чеканку с названиями сибирских городов.

Светлане Завьяловой на семинаре не очень повезло. Вообще поэтесс тогда было немного, в отличие от последнего, к примеру, десятилетия. Женщин приглашали больше для разнообразия и чтобы украсить мужское собрание...

Мелодраматизм и «асадовское» морализаторство в ее тогдашних стихах не понравились товарищам по перу. Большинство отмалчивалось, и все-таки кто-то не выдержал и потребовал в шутку: «Этой девушке писать стихи — запретить!»

Но Света была в ту пору самодостаточным и уверенным в себе человеком, к тому же — байкером. И не огорчалась.

Да и Смольников заступился, сказав: «Смотрите, как искренне сказано: “В себе бы выжечь все плохое, Как эту сорную траву...”»

Экскурсия по Ангаре на озеро Байкал прогулочным катером стала одним из самых памятных событий.

На кораблике работал буфет, и семинаристы ходили чуть ли не в обнимку с руководителями. Благодушно настроенный Виктор Астафьев в чем-то убеждал неуступчивого Георгия Семенова.

Поразила чистейшая вода в реке и особенно в байкальском устье, в озере на переходе в Листвянку. Многометровая прозрачность выглядела нереально. Бросали монетки и смотрели, как они, поскверкивая, уходили в глубину.

В Листвянке для нас были накрыты банкетные столы. Но восславленный в песнях омуль здесь уступал по вкусовым качествам запомнившемуся когда-то, купленному папой на станции Слюдянка и впервые попробованному в поезде — горячего копчения — в детстве... И тем более он не шел ни в какое сравнение с нашей дальневосточной красной рыбой.

Поднимаясь по гостиничной лестнице к себе в номер, услышал оклик: «Андрей!» Оглянувшись, я представился окликнувшему: «Я его брат Николай». — «Надо же! Вы так похожи голосами, походками, жестами...»

Мы познакомились. Это оказался Теймураз Мамаладзе, заведующий отделом литературы «Комсомольской правды», приехавший освещать ход нашего совещания.

Он попросил занести к нему подборку стихотворений, что я и сделал на следующее утро. Открыв незапертую дверь номера, услышал голос из ванной: «Посиди немного, почитай что-нибудь, пока приведу себя в порядок...»

Мы с ним поговорили о том о сем, и через некоторое время в «Комсомольской правде» появилась небольшая подборка моих стихотворений, после чего в Горнозаводск пришло несколько читательских писем, в основном от девушек, с предложением «дружить».

После VI Всесоюзного совещания в «Комсомолке» появилась еще одна моя подборка, объемнее, чем первая.

## СИБИРСКАЯ «ВИКТОРИЯ» ПРОЗАИКА СУВОРОВА

Номера гостиницы «Сибирь» были обставлены с купеческим размахом. Двухместные, но просторные, они состояли из двух комнат. Поэтому по вечерам мы собирались то в одном, то в другом...

Однажды утром мы с Женей Барановым заглянули в соседний номер, где накануне вечером душевно посидели. Открывший дверь хозяин был мрачен.

— Что случилось? — спросил я.

— А посмотри... — он кивнул на диван у окна.

Такой же, красивого телесного цвета, стоял и у нас. Судя по всему, завезли их недавно. Приглядевшись, мы увидели на сиденье выгоревшую дыру размером с детский мячик, наверное, из стихотворения «Таня, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч...».

— Ого! — сказали мы.

Потихоньку подтягивались вчерашние «сидельцы». Кто прожег диван — значения не имело. Курили и сживали на нем почти все гости, а было нас — чуть ли не дюжина. Держать ответ предстояло хозяевам. Все выражали им сочувствие и пили воду прямо из-под крана в ванной. Кое-кто, забежав и узнав, отчего траур, быстро сваливал.

В этот момент подошли иркутяне: прозаик Суворов и поэт Козлов.

— Все живы со «вчерашнего»? — спросили они.

Им показали на диван, и мы услышали: «Е-мое!»

— Опохмелиться бы... — простонал, сидя на койке и уткнув голову в колени, второй из хозяев.

— Так. Никаких опохмелок! Деньги — на стол! — принял Суворов командование на себя.

Денег было негусто. Командир вывел посыльного на инструктаж в коридор. Тот скоро вернулся и стал доставать из портфеля инструмент: молоток, большую отвертку, ножовку...

— Молоток не нужен. Стучать нельзя, — продолжал командовать прозаик. — Быстро ломать-пилить!

Сам он с двумя подедельниками стал «выносящим» — они относили в портфелях и сумках мелкие части дивана в угол огромного двора, где стояли мусорные баки. Я сходил к дежурной по этажу за веником, объяснил, что рассыпали заварку, и стал «заметающим» — собирал опилки на газету.

Диван был не очень большой, и мы управились меньше, чем за час.

— Вот теперь можно и полечиться, кто болеет, — объявил Суворов, перетащив на место дивана журнальный столик с портативной печатной машинкой.

Из буфета принесли вина и бутербродов и уселись — кто в кресла, а кто и прямо на пол. Полдник уже собирался плавно перейти в обед, а там и в ужин, когда раздался стук в дверь.

— Инвентаризация, — объявила пышная блондинка, вошедшая в сопровождении дежурной. В руках у нее была амбарная книга, в которой она делала пометки, быстро оглядывая номер и шевеля губами.

Все это заняло минуты две, и она уже повернулась уходить, но вновь развернулась к нам полным «фронтом» и произнесла:

— А диван?

Пауза не успела зависнуть, поскольку раздался звонкий голос Суворова:

— А нам и не надо. У нас главное, чтобы машинку печатную было куда поставить. И кресел хватает. Спасибо, не беспокойтесь...

— Да нет, у нас во всех стандартных номерах должны быть венгерские диваны и кресла...

И, повернувшись к дежурной, скомандовала:

— Василиса! Заявку мне — сегодня же!

В номере стоял уже веселый гвалт, когда ближе к вечеру в дверь опять постучали и трое грузчиков занесли диван все того же телесного цвета и, отодвинув журнальный столик с машинкой, установили его на прежнем месте.

Мы оба с моим соседом не любили «дежа вю» и убрались восвояси. Я ушел прогуляться, а Баранов остался в номере. Вернувшись, застал его читающим в постели книгу.

— Как ты можешь, нетрезвый, книгу читать? — удивился я. — Ведь искажается восприятие...

— Всегда читаю, когда выпью. И пишу, бывает, под газом. Так даже интереснее...

— Плохи, Женя, твои дела, если ты выпиваешь, чтобы книжки читать и писать, — вырвалось у меня. — Гулять надо, с людьми общаться, — поделился я «шутейным» своим опытом.

И жизнь подтвердила: смешение праздника и трудовых будней, творческой работы и стакана ни к чему хорошему не приводит. Евгений Баранов довольно быстро спился, потерял работу, уехал на родину в Кишинев, вернулся на Сахалин, в Александровск-Сахалинский, где его приютили в газете «Красное знамя». Вновь тяжело запил, уехал навсегда и, по слухам, пропал окончательно.

Дня за три до окончания семинара я обнаружил, что у меня нет и шести копеек на трамвай. Понял это я, когда пошел вечером проводить местную радиожурналистку с ее довольно увесистым чемоданчиком с аппаратурой.

Она брала интервью у семинаристов, но подзадержалась в нашей компании. Сидели в номере у Кобенкова, и она весь вечер не сводила с него влюбленных глаз. Толю она не обаяла, и проводить ее вызвался я. Теперь ей пришлось платить в трамвае и за меня.

Обратно я шел пешком по трамвайным путям, чтобы не заблудиться в ночном Иркутске. Проходя мимо сквериков, наблюдал, как народные дружинники обшаривают кусты, в надежде накрыть там какую-нибудь завалившуюся парочку.

Подводил итоги семинаров, видимо, самый стойкий из руководителей — Марк Соболев. Когда он закурил прямо за столом президиума, женщина из зала сказала:

— Могли бы и потерпеть. Здесь ведь и женщины есть...

Соболева это замечание привело в ярость. Он встал из-за стола и, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Мне шестьдесят лет. Я воевал. У меня нет одного легкого. Поэтому ничего терпеть я не могу и буду действовать, как считаю нужным!

«Может, курево ему как лекарство требуется, чтобы не кашлять?» — предположили мы потом, обсуждая «демарш» поэта.

На трамвай не было не только у меня. Но у нас троих — сахалинцев — обратные билеты уже лежали в кармане. Правда, Баранов свой умудрился пропить и на новый билет занял денег у иркутян.

После закрытия Совещания семинаристов еще пару дней отлавливал в номерах и ресторанах специальный комсомольский патруль. Их отвозили прямо в аэропорт и отправляли за счет обкома комсомола, которому были даны такие финансовые полномочия.

Потом говорили, что очень помог опыт Читинского семинара десятилетней давности. Тогда некоторые семинаристы — поэты и прозаики — рассеялись по

городу и божевали чуть ли не месяц. Возможно, здесь что-то преувеличили. Но мы втроем вернулись невредимыми и почти вовремя.

А прозаика Суворова я встретил несколько лет назад на съезде Союза писателей, который проходил в Орле.

— Узнал, узнал вас! — закричал я, распахивая объятия. — Вы писатель Кутузов из Иркутска!

— Не совсем так, — поправил он меня. — Я — Суворов...

Я извинился за ошибку, но и меня можно было понять: на просторах российской державы успешно действовал и прозаик Кутузов...

Мы с ним постояли несколько минут, припоминая ту давнюю «викторию» в иркутской гостинице «Сибирь».

## РОБЕРТ РОБЕРТОВИЧ, ВИКТОР И НИНА

В связи с поездкой на Иркутское совещание молодых писателей мне было разрешено один из выпускных экзаменов, совпавших с Иркутском, — это была литература — досдать позже, вместе с приемными. Одним из принимающих экзамен был Роберт Робертович Майман. По моему вопросу «Рассказ «Пески» Серафимовича» у нас с ним завязался интересный диалог, в результате которого я получил «отлично».

С Майманом у меня сразу сложились вполне товарищеские отношения, несмотря на то что он преподаватель, а я студент-заочник. Знакомство началось, когда поздно вечером сдавал я ему в институте «выразительное чтение», читал своего «Царя». Слушал он очень заинтересованно.

— Чьи это стихи? Похоже на Кедрина, но не Кедрин...

С ним потом не раз ездили мы в районы выступать, причем его заявляли как литературного критика. Он был широко эрудирован и литературно хорошо образован. Я в ту пору был сторонником отмены преподавания русской классической литературы в школе, поскольку считал, что школа прививает ученикам неприязнь к предмету. И только через несколько лет после школы бывшие ученики могут восстановиться для восприятия русской литературы и стать нормальными читателями. Да и то далеко не все.

К максимализму моему он относился сочувственно, но не во всем был согласен. Интересно рассказывал о своем ленинградском детстве. О том, как ребенком в голодные годы, попав к кому-нибудь в гости, отказывался от угощения: «Спасибо, у нас дома много...» Таковы были воспитание и семейная гордость.

Кажется, он меня и познакомил с преподавателем русской и советской литературы Виктором Мамонтовым, дружба с которым весьма содействовала моему восприятию христианской эстетики.

Мамонтов каждое лето уезжал в Коктебель, был своим человеком у вдовы Максимилиана Волошина Марии Степановны и у Анастасии Ивановны Цветаевой — сестры великой Марины. Как раз в это время вышла книга воспоминаний девяностолетней Анастасии, за которой читатели охотились. Она стала и крестной матерью будущего архимандрита Виктора (Мамонтова).

Но в начале семидесятых он был преподавателем литературы в педагогическом институте, кандидатом филологических наук. Говорил, что работает над докторской диссертацией по Максимилиану Волошину.

Именно Виктор пробудил во мне интерес к Серебряному веку, не очень еще приоткрытому в официальной филологии. Он переписывался с только-только

получившей известность Анной Герман Певица недавно восстановилась после авткатастрофы. «Танцующие Эвридики» мы впервые услышали у него.

— Она теперь вся на серебряных скрепочках и клепочках, — говорил Виктор.

Меня и Анастасию он познакомил со своими друзьями: преподавательницей старославянского языка Ниной Саблиной, преподавательницей русского языка Мордвинцевой и приехавшей недавно из Хабаровска Ларисой Дорофеевой — преподавательницей зарубежной литературы. Лариса к тому же еще и сочиняла весьма нестандартные стихи. Все, как на подбор, — яркие, талантливые, добро-сердечные...

Были еще двое бывших преподавателей пединститута, уволенных в ходе идеологической чистки 1969 года. Тогда же разогнали и областную газету «Молодая гвардия».

Не раз мы собирались веселой компанией у нас, то есть в квартире наших друзей, чудесных людей, врачей-окулистов Кольцовых, убывших в отпуск. Виктор Кольцов был и поэтом — наши с ним первые книжки вышли в одной поэтической кассете.

Пили мы полусухое и сухое вино, говорили о литературе, и самой притягательной темой была уже тема Серебряного века. Когда просили, читал и я свои стихи.

Однажды засиделись допоздна и ночевали кто где сидел: на диване и в глубоких креслах. Наутро Мордвинцева, слывшая самым свирепым адептом русского языка, сказала Анастасии:

— Я прониклась к вам такой симпатией! И хочу, чтобы вы знали русский язык лучше, чем другие студенты. Поэтому дам вам несколько тем и буду принимать экзамены по языку не как у всех целиком, а пораздельно...

Понятно, что такая перспектива не очень обрадовала Анастасию. Хотя изучать язык «от Мордвинцевой» тоже было заманчиво. В итоге она получила годовую твердую тройку. А я годом раньше четверку. Пятерок, говорили, она вообще не ставила.

Появился преподаватель русской литературы по фамилии Печоров. Мне он напомнил Огурцова из «Карнавальная ночи». Когда пришла пора сдавать ему экзамен, то он сильно меня удивил, сообщив после моего ответа:

— Мне очень некогда, давайте я вам тройку поставлю, и разойдемся...

Это показалось несправедливым, и я возразил:

— Но ведь я все вам ответил...

Он посмотрел на часы:

— Уже опаздываю...

— Что вас не устраивает в моем ответе? — опять удивился я.

— Ну, хорошо, возьмите еще билет...

В дополнительном билете вопрос касался романа «Воскресение» Льва Толстого, одной из любимых моих книг в свое время, и отвечал я по нему, как «Отче наш» читал.

— Мне все-таки пора идти, — он снова посмотрел на часы. — Давайте зачетку...

И, ничего не объясняя, без зазрения совести вывел тройку. Видимо, он считал, что с заочником можно не церемониться.

— Что такой задумчивый? — услышал я голос Мамонтова, когда брел по институтскому коридору.

Я рассказал ему подробно, как сдавал экзамен и отчего теперь в непонятках.

— Не обращай внимания. Он человек новый и с заскоками...

Забрав у меня зачетку, Виктор зашел в одну из аудиторий. А через минуту вернул мне ее. В графе «русская литература второй половины XIX века» под тройкой Печорова стояло «отлично» другого преподавателя — Ольги Федоровны Селютиной.

Гостили мы с Анастасией частью в ту сессию у Виктора. И как-то он с балкона второго этажа окликнул кого-то, гуляющего с крупным боксером. Окликнутый оказался Печоровым, который через пару минут уже сидел за нашим журнальным столиком, пригубивая бокал сухого вина.

— Это наш студент, — представил меня Мамонтов.

— Отличный студент! Я ему на днях пятерку поставил, — похвалился Печоров.

— Станный какой, — поделился я после его ухода.

— А, не обращай внимания, — снова махнул рукой Виктор...

Преподаватель русской литературы Печоров оказался «самодельным» автором. Ознакомившись с его стихами и отхохотав от пуза, ответственный секретарь газеты «Молодая гвардия» Евгений Баранов печатать их отказался, спросив:

— Где вы защищали кандидатскую? Я напишу туда, потому что считаю ваши документы поддельными. Как вы можете учить студентов литературе, если пишете такое?

Одно из стихотворений было посвящено пожару, уничтожившему зимой Дом офицеров. Народ спешил согреть руки у большого предновогоднего костра, и рефреном звучало: «Что за чудо! Что за чудо! Стар и млад спешит к костру!»

Другое стихотворение представляло собой зарисовку об условиях жизни во время сельхозработ. Запомнилась строчка о крысах: «Сколько много остреньких рож!»

Баранов жаловался, что он довольно агрессивно вел себя в редакции, требовал опубликования своих опусов, грозил пожаловаться в высокие инстанции.

Позже, не помню по какому поводу, побывал я у Печорова дома. Там была престарелая парализованная матушка, за которой хозяин трогательно ухаживал.

Мамонтов же был человеком нестандартным во всех отношениях. Речь его звучала утонченно и изысканно. Даже когда ему приходилось рассуждать с трибуны о социалистическом реализме. В литературном активе писательской организации он значился литературным критиком. Выступал в местной печати с откликами на новые книги, писал о творчестве Владимира Санги. Выезжал и на Всесоюзный семинар-совещание молодых критиков, где познакомился с Валентином Курбатовым и потом рассказывал мне о нем.

Надо сказать, что все преподаватели литературы считались у нас как бы по совместительству литературными критиками. О творчестве поэта Ивана Белоусова, например, регулярно печатала статьи в газете «Советский Сахалин» заведующая кафедрой русского языка и литературы Ольга Федоровна Селютина. К ней Виктор тоже водил меня с Анастасией в гости. Душевная женщина с широким взглядом на жизнь — такой запомнилась мне хозяйка.

Виктор много рассказывал о коктейбельских впечатлениях. А письма заканчивал словами: «Храни вас Судьба!» Ранее было объяснено, что в письмах слово «Судьба» с большой буквы является эвфемизмом слова «Бог».

В своих эпистолах он всегда упоминал и Нину Саблину, передавал от нее приветы.

«Нину притесняют мужики в деканате. Хотят отправить в отпуск 8 августа, чего она вовсе не желает. Швырялась сарказмами, но их не проймешь ничем...»

В другом письме: «Саблина, получив отпускные, загрустила... Передает вам нежный привет...» Еще: «Нина по-прежнему вспоминает вас и шлет нежный привет...»

Заботливость и внимание сквозили в его письмах:

«Коля! Как твое горло?.. Посылаю вам немного сластей. Елене Прекрасной жвачку в добавку, чтобы зуб быстрее рос и волосы кудрявились...»



У нас в обиходе крутилась цветаяевская строчка: «Из Индии пришлите камни...» И в одном из писем Виктор пишет:

«Индийские нашлись вдруг камни... И я посылаю их тебе как запоздалый подарок ко дню рождения. Лески не нашлось, нанижешь сам, получатся агатовые четки, перебирая которые, погрузишься в состояние дзэн. Прими и Швейцера, многие мысли которого, не сомневаюсь, будут созвучны тебе. А Асе посылаю греческие народные песни, которые долго стояли на моей полке и ждали часа дарения.

Все замкнуто, все хорошо, все прочно! Храни вас Судьба...»

Он был членом КПСС, но, переехав в середине семидесятых преподавать в Московский пединститут, через какое-то время пошел в райком партии и положил партбилет на стол, объяснив это религиозными причинами. Связь с Сахалином, помимо родных, он поддерживал только через Нину Саблину. Она довольно скупко рассказывала о его перемещениях. Но вот как сам архимандрит Виктор рассказал позже об этом периоде в своей книге:

«Я родился 10 сентября 1938 года в селе Новый Ямполь, Зейского района, Амурской области. Мои родители — Авраам Никитич Мамонтов, 1899 года рождения, и Вера Дмитриевна Мамонтова, 1902 года рождения. Отец работал директором школы в Приморье. Был репрессирован и умер в лагере в 1943 году. Родители венчались в Благовещенске. Родилось 9 детей. Сестры Зоя, Валентина, Раиса, брат Владимир живы, остальные умерли. Мама последние годы жизни жила в Южно-Сахалинске, умерла в 1993 году...

Я стал Христианином в 1971 году. Меня крестил в Москве у себя на дому священник о. Дмитрий Дудко... Будучи филологом, преподавателем, я решил посвятить себя пастырскому служению, ибо понял, что оно выше, чем служение литературе...

Призвание к монашеству я впервые почувствовал, побывав в 1975 году в Почаевской Лавре. Там я ощутил себя не на земле, а на небе. В конце 70-х годов начал свое иноческое служение в Свято-Успенской Почаевской лавре, где пробыл около двух лет. Я стал послушником, пел на клиросе. Но потом стукачи выгнали из Лавры — не понравилось, что у меня высшее образование и что я хорошо проводил экскурсии в монастыре. По решению местных властей я был лишен прописки в городе Почаеве и вынужден был покинуть Лавру.

Я приехал в село Ракитное к старцу архимандриту Серафиму (Тяпочкину), который направил меня к митрополиту Леониду, сказав: «Он будет вам как отец». В 1982 году Владыка направил меня служить в Свято-Евфросиниевский храм г. Карсава и еще на 3 прихода: Гольшевский, Пудинавский, Квитенский. Он возвел меня в сан иеромонаха, потом игумена и архимандрита...»

А вот о нем из автобиографического повествования Нины Саблиной:

«Архимандрит Виктор, родом дальневосточник, который просто был тогда Виктор Авраамович Мамонтов и учился в Ленинском пединституте, и очень много ездил в Коктебель... Как известно, Максимилиан Волошин был человеком верующим, и там жива была память и о Марине Цветаевой, куда ездила Анастасия Цветаева... И вот, как говорила с досадой наша секретарь партбюро, «эти бабки его и свели с правильного пути»...

Мы были коллеги, мы были очень молодые тогда, нам и по тридцать лет не было... Мы часто ходили за руку, как брат и сестра. У нас никогда не было романа, для всех это было загадкой. Он рассказывал о Пюхтицком монастыре, потому что он стал туда потихоньку ездить. И вот мы с ним стали шептаться. А еще к этому шептанию нас побудило то, что в 1968 году произошли неизвестные чешские события. И очень многих преподавателей, талантливых, умных, подвергли гонениям. У нас в основном институт состоял из московско-

ленинградских преподавателей, приехавших из аспирантуры преподавать, и из местных комсомольско-партийных кадров, которые жить нам совершенно не давали, они всегда были наши начальники, они всегда нас очень гоняли, бесконечно пытались уволить...»

В один из приездов я прочитал Виктору новое стихотворение:

*Хорошо ученой птицей,  
Говорящей птицей быть.  
У больших столов кормиться,  
По подсказке говорить.  
По-ученому все делать —  
Чистить перья, шурить глаз  
И являть свою умелость  
Приглашенным на показ.  
Хорошо в чужих пенатах  
Говорящей птицей быть.  
Брать взаймы не у пернатых,  
Перелеты позабыть.  
Не жалеть гнездовий прежних,  
В холода не голодать.  
И не жить смешной надеждой  
Вещей птицей в стае стать.*

Мы сидели втроем в кафе, и вдруг я увидел, что лицо его помрачнело.

— Это ты про меня написал, — сказал он тихо. — Спасибо...

— С чего ты взял? — удивился я.

— Нет уж. Представь себе, я все понял...

С этих пор в нашей дружбе наметилось некоторое охлаждение.

Нина Саблина написала:

«Очень рада была вашей весте — доброму сигналу, что с отъездом нашего нежного и милого Вити наши связи не прекратятся... Спасибо за стих, но такой уж у меня характер скорпионий, что я сразу пародию сочинила, потому что какой уж «спокойный свет моей звезды»... И вообще мне-то лично кажется (и разве я в этом виновата?), что у Бога для меня не нашлось звезды.

*Переча путаной природе,  
Мне не запрягаться в кусты.  
Ведь даже там меня находит  
Он — беспокойный свет звезды.*

И еще у меня есть стишки. Но это при встрече зимой, в которую я верю и жду (и встречу, и зиму)... Желаю вам всего самого наилучшего. Ваша Нина.

P.S. Как уехал Виктор — не знаю, была в Углегорске на картошке, просто он исчез, как маленький принц...»

В девяностых годах она перебралась в Петербург, где у нее оставалась квартира. В программе «Православное радио», которую она вела, на различных курсах, в подмосковной гимназии в Плесково — радела о восстановлении русской языковой культуры, опубликовала много статей и несколько книг.

В 2000 году в Санкт-Петербурге вышла красочная книга Саблиной «Буквица славянская» — поэтическая история азбуки с азами церковнославянской грамоты...

Мне передали ее, с надписью Нины Павловны: «Дорогой Коля! Спасибо за добрые стихи, которые я люблю всю жизнь! И так рада, что предоставилась возможность одним из них («Слова» — на букву «Юс малый») украсить сию книжицу. В мае твой стих звучал в Православной гимназии им. Царицы-мученицы Александры Федоровны — им был начат урок! Дай Бог тебе здоровья и творческих сил на многая лета!»

Поместила она мое скромное стихотворение между: с одной стороны — Лермонтовым и Тютчевым, с другой — Буниным и Есениным.

Умерла Нина Павловна в 2007 году. И уже после кончины ее, усилиями сестры Валентины, вышла в Питере замечательная книга, ею подготовленная, хрестоматия «“Жизнь жительствоует...” Антология стихов о смерти и бессмертии в русской поэзии».

## НА ШЕСТОМ ВСЕСОЮЗНОМ

Полуспившийся интеллигент, учитель математики Борис Лузянин приехал на Сахалин лет пять назад после окончания московского вуза. Теперь он был изгнан из всех учебных заведений Горнозаводска, включая профтехучилище. Романтик, не сладивший с жестокой реальностью. Он был книжным умником, а отчий дом его находился в подмосковном Быково. Но денег, чтобы вернуться на родину, не было.

Он слонялся по городу совершенно растерянный, похудевший и почерневший, совершенно непохожий на недавнего блестящего преподавателя. Жил в какой-то барачной клетушке без окон, с тусклой электрической лампочкой.

Мне было жаль его. Но таких денег, — а требовалось на билет с прокормом рублей двести, — у меня тоже не было. И тогда я решился на телефонный звонок брату Андрею во Владивосток с просьбой занять двести рублей.

— Сгорел на работе мотор, а я, как лицо материально ответственное, должен возместить... и так далее, — что-то в этом роде лепетал я.

Брат телеграфировал деньги, Борис был спешно отправлен в свое Быково, и в воздухе перестало попахивать суицидом.

А брат вскоре нагрянул в гости. Было это в 1974 году.

— Живу, как помещик средней руки, — обвел я жестом барак и свой, засыпанный чуть ли не до окон печной золой, проулок.

— Все у нас есть...

Мы сидели на деревянном крыльчке. Рядом, на своем крыльчке, сидели соседки — юные кореянки. Над нами стояло небо с ярчайшими звездами.

— Когда-нибудь вспомнишь об этом месте, как о лучшем в своей жизни...

И оказался прав. Тому свидетельство — стихи, написанные гораздо позже:

*Вязко пахнет ельной смолкою  
В деревянном городке,  
Где — Бог мой! —  
Такую долгую  
Жизнь я прожил налегке.  
Под ногою  
Поскрип досточек,  
В переулках — тишь да гладь.  
На дорогах мелкий дождичек  
Не устанет бормотать.*

*Там собаки беспородные  
Забредают в тупики,  
И оградки огородные  
Поправляют старики.  
Тишь да гладь — слова бескрылые.  
Жизнь везде ведь не проста.  
Там ничуть не скучно, милые,  
Нужно только знать места.  
Знаю точно — не по случаю  
Выпал мне тот городок,  
И свою, быть может,  
Лучшую  
Жизнь я прожил там  
Как смог.*

Заглянув на СЮТ, Андрей еще раз подивился, как милостива ко мне судьба:

— Ну и ловок ты, брат! А твой старший брат-танкист в поте лица своего в Каракумах на танке... — и так далее.

В 1975 году он заехал еще раз, прилетев на Сахалин по своим соборовским делам, и проехал его на поезде с юга на север. Нам удалось выехать пару раз на велосипедах на рыбалку по ручью Сигаси. Брат был поражен рыбным изобилием речки.

— У нас, чтобы половить мелочовку — мальму или подкаменку, — нужно отъехать километров сто от Владивостока. Но такой нагулянной рыбки и там не поймаешь...

В том же году, в начале лета, родился сын Антонин. За пару месяцев до этого события, в марте, я стал участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Ехать мы должны были той же командой, что и в Иркутск. Нас уже пригласили на инструктаж в отдел пропаганды и агитации обкома партии, где заведующий отделом Николай Иванович Колесников был лаконичен:

— Самое главное — пустые бутылки в форточку не выкидывать... А то ездили недавно спортсмены — до сих пор жалобы идут... Все остальное — приложится...

Кому-то может показаться, что идеологи так шутили. А зря.

Но в последний момент оказалось, что Света Завьялова не прошла творческий конкурс, а Женю Баранова начали увольнять за пьянство из газеты «Молодая гвардия», где он работал ответственным секретарем.

Мы с Витей Матковским пришли к нему домой выразить сочувствие. От хозяина пахло винцом, да и мы уже были на взводе. По его словам, Вячеслав Шугаев, руководитель семинара прозы в Иркутске, сильно хвалил его рассказы тогда и телеграфировал сейчас, чтобы Женя, ни на что невзирая, летел в Москву. Хотя бы даже за свой счет.

Забегая наперед, скажу, что через много лет, в 1990 году, Шугаев, когда я напомнил о его «ученике», высказался иначе:

— Слабый прозаик ваш Евгений Баранов. На Иркутском семинаре ему досталось...

— А как же телеграмма ваша с предложением лететь в Москву, хотя бы даже и за свой счет? — напомнил я ему.

— Наоборот. Когда он запросил мое мнение, я посоветовал ему не строить иллюзий и не рваться на совещание...

Мы с Матковским, как могли, оказали приятно моральную поддержку, которая выразилась в совместном распитии бутылки портвейна. Но тут пришла жена Баранова и закричала:

— Сколько можно спаивать этого алкоголика?! У него уже во всех цветочных вазочках вино налито!

Витя Матковский к этому времени оказался более всех сломленным алкоголем и стоял на коленях перед унитазом, «рыча» в него. Однако при этом он умудрялся время от времени приподнимать голову и давать отпор:

— Негодяйка! Такого парня загубила!..

Оказав таким образом моральную поддержку собрату-литератору, мы удалились. А через пару дней я полетел в Москву в единственном числе. И только позже узнал, что с Сахалина был еще один участник, приглашенный напрямую журналом «Юность», Анатолий Тоболяк. Но с ним я еще не был знаком и ничего его не читал.

Поселили меня в одном номере с прозаиком Александром Плетневым, сорокалетним шахтером из Приморского города Артема. Его книга «Дивное дело» была на слуху. Он считался «открытием» Иркутского совещания, и, хотя не проходил по возрасту, был приглашен специально, так сказать, за талант. Так же, кстати, как и поэт Юрий Аксаментов, с которым мы сдружились очень быстро. Юра записал мне в блокнот на память стихи:

*В глуши сибирских плоскогорий,  
Под сенью северных небес,  
Вкусив и радости и горе,  
Я трижды умер и воскрес.  
Мне стали ближе и роднее  
Незнаменитые места,  
Понятней — лес, река — слышнее  
И слаще — ягода с куста.  
Я удивляюсь: сердце бьется.  
Смеюсь: резвится детвора.  
Душе по-новому поется —  
Давно пора, давно пора...  
Ведь там, где вечность и забвенье,  
Ей не нашлось и уголка.  
Ты длись и длись, мое мгновенье!  
Ты разговаривай, река!*

С Юрой мы переписывались потом лет десять, но больше никогда не встречались. Он запросил у меня рукопись сборника стихотворений и весь его напечатал года за два в своей северной районной газете «Мамско-Чуйский горняк».

Он болел, метался по Сибири. В середине девяностых его не стало. Недавно я прочитал в Интернете: «28 июля по адресу ул. Интернациональная, дом 22 состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти поэта, члена Союза писателей СССР Юрия Петровича Аксаментова...»

— Конечно, это очень важное событие как в рамках культуры нашего города, так и области, — сказал присутствовавший на открытии депутат городской Думы Валерий Попов. — Важно то, что, наряду с великими классиками литературы нашей страны, люди помнят и чтят талант поэта, который жил в Усолье-Сибирском, пусть и не являясь его коренным жителем. Тем не менее для Юрия Аксаментова это были годы, наполненные творчеством и любовью, с которой он написал ряд поэтических произведений об Усолье-Сибирском. Очень важно сохранить память о поэте, его творчестве, собственно, как и само творчество — стихи, для дальнейших поколений усольчан. Наш город всегда славился талантами, и открытие

мемориальной доски в память об усольском поэте — еще одна страница в летописи богатого культурного наследия нашего небольшого города большой страны...»

Плетнев, извинившись за «прозаизм», тоже написал мне в блокнот на память:

*...Я знаю — тяжел для полета.  
Я помню — сидит мой чуб.  
Устал я: уж в крыльях ломота,  
Но я все лечу и лечу.*

Общность взглядов на жизнь и литературу обнаружилась у меня с талантливым поэтом из Липецка Иваном Завражиным. Он записал мне в блокнот такие стихи:

*Хочешь, я тебе спою  
Про неподлинность мою:  
Умру, упаду  
Перед милой во саду,  
Потом встану, погляжу,  
Хорошо ли я лежу...  
...Будет стыть, не пыля,  
Комковатая земля.  
Хорошо ли я лежу?  
Да,  
Легко мне лежать.  
Ты нам проса кинь в межу,  
Станут птицы прилетать.  
Умру, упаду,  
Отпоют, будут петь...  
Может, все-таки приду  
На застолье посмотреть...  
Милой слезы утереть.*

Иван Сергеевич Завражин погиб в ноябре 2005 года. Его сбил автомобиль, когда он возвращался с дачного участка неподалеку от Липецка.

Общие посиделки были то в одном номере, то в другом. Хорошие встречи происходили в номере Толи Кобенкова, где мы сидели большой компанией, пользуясь радушием хозяина. Соседом по номеру Кобенкова был поэт и художник из Нижнего Новгорода, тогда — города Горького, Юрий Уваров. Выяснилось, что у него тоже, как и у Кобенкова, в недавние годы был мертворожденный сын, и они по этому случаю взрыдывали на плече друг у друга.

Пришел поэт и переводчик Александр Ревич. Чекушку водки и персональную стопку за ним несли друзья и подруги. Среди них поэтесса Ольга Чугай. Она следила, чтобы он выпивал только из этой чекушки. Читали по кругу стихи.

— Твои — самые гениальные, — шепнула Ольга мне. — Откуда ты такой?

Меня понесло «мифоманствовать». И я выдал историю про сахалинский кулинарный техникум, где якобы учусь и где у меня тройка по первым блюдам, но пятерка по компотам.

Сначала в публике чувствовалось недоверие, поскольку только что «кулинарный техникум» прозвучал у Хазанова. Но я сыпал деталями, в том числе бытовыми, «общежитскими», которых у него и в помине не было. А на вопросы отвечал очень специфически и профессионально. Ударение в слове «техникум» ставил почему-то на последнем слоге. Поэтому слушали меня как «самородка»

заинтересованно. Ольга дала свой телефон и просила позвонить по ходу командировки. Кажется, она руководила каким-то литобъединением. Но позвонить не получилось. И только недавно удалось почитать ее стихи — очень хорошего уровня, на мой взгляд.

Заглядывал в номер и Николай Старшинов — наставник поэтической молодежи. Тоже со своей персональной бутылочкой. А через Василия Казина, классика поэзии тридцатых годов, похожего на «гриб боровик», получилось «поручковаться» с Маяковским и Есениным.

На Совещании для его участников была развернута большая программа встреч. Мы встречались с матерью Зои Космодемьянской Любовью Тимофеевной, с подружившим на рейхстаг Знамя Победы Героем Советского Союза Кантарией, генсеком чилийских комсомольцев Гладис Марин. Последняя оказалась миловидной и общительной молодой женщиной, она написала мне в блокнот несколько слов, где я разобрал только слово «Сахалин». В 2005 году в Чили был объявлен двухдневный траур в связи с ее кончиной...

Большинство памятных материалов, фотографий с друзьями из разных республик выманили позже разными хитростями работники музеев, особенно Хабаровского литературного. Нет уже того музея, нет и тех материалов, что я им передавал после Иркутска и Москвы «по велению глупости», запутанный бесчестными обещаниями сделать копии, вернуть по первому требованию и так далее. Нет у меня фото моего семинара во главе с Робертом Ивановичем Рождественским. Нет фото, где я в обнимку с кавказским другом, обладателем роскошных усов, надписавшим на обороте: «Моим друзьями!», и многого другого.

## **КУКОЛЬНИКИ, ЛИЛИПУТЫ И ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Творческие командировки значительно расширяли круг моего общения с самыми различными людьми. То возникала мимолетная дружба с театром лилипутов, то — с кукольным театром из Владивостока...

С маленькими людьми я быстро нашел общий язык. Мы вместе ужинали в гостиничном ресторане и даже потанцевали, пользуясь тем, что рядом не оказалось их «промоушена». Все были дружелюбны, и лишь один, самый рослый, злобно посверкивал в мою сторону глазами. Он ревновал меня к самой маленькой и звонкоголосой, с которой мы мило общались.

Кукольный театр просто свалился на голову директору Дома культуры железнодорожников Валерию Савченко, у которого гостевали в тот момент и мы с Финновым, ожидая выезда в северный район. Оказалось, что их некуда поселить, и мы все вместе переночевали дома у Валерия Саныча, а потом так же вместе поселились в гостинице.

Дня три я ходил с ними на представления, помогал на спектаклях, создавал шум, где просили, а главное — изучал закулисы их волшебной работы. Травести была у них девушка, кореянка по отцу и, конечно, по внешности. Запомнилась ее, повторяемая как заклинание, фраза: «На самом деле я — русская. Мою маму зовут Мария Ивановна...»

И я ничуть не удивился тому, что личное мое знакомство с известным приморским поэтом Владимиром Тыцких на каком-то семинаре в Москве началось с его слов: «От наших кукольников тебе — большой привет!»

Через три дня меня отыскала в гостинице Людмила Степановна Сапрыгина и, пожуриив, отправила в район.

В семидесятые годы на Сахалине проходили грандиозные литературные праздники — Дни советской литературы. Приезжали многие известные писатели, среди которых Сергей Смирнов, Михаил Дудин, Даниил Гранин, Римма Казакова, Лидия Либединская, Давид Кугультинов, Герой Советского Союза Емельяненко, Микола Бажан, Михайло Стельмах, Павел Нилин, Марк Максимов — отец нынешнего телеведущего Андрея Максимова, Глеб Горбовский, Танзиля Зуманкулова, Глеб Горышин и другие, до сорока гостей из разных уголков Союза — цвет советской литературы.

Их разбивали на группы, в которые включали и хозяев, сахалинцев. На литературных вечерах в домах культуры яблоку некуда было упасть — люди стояли в проходах залов.

Поездка на Кунашир в 1975 году запомнилась ночной высадкой с теплохода на плашкоут — ведь на Курилах нет портов. Спустили трап, и по нему, еще не закрепленному, пробежал, демонстрируя лихость, украинский поэт Иван Драч. На эту его выходку отозвался капитанский «матюкальщик»:

— Е... вашу мать! Если еще какой-нибудь гондон без команды на трап прыгнет, — всех на х... обратно заверну, и будете до утра болтаться на рейде. Первый — пошел!..

Человек тридцать уважаемых писателей и сопровождающих лиц втянули головы в плечи, ожидая команды: «второй — пошел», «третий» и так далее. Все понимали: море есть море, с ним шутить нельзя, и это оно сейчас разговаривает с ними через «матюкальщик»...

В Южно-Курильске литературный вечер проходил в маленьком зальчике кинотеатра «Чайка», на самом берегу моря. Было тепло, и стихам, вылетавшим из раскрытых дверей зала, вторил шорох набегавшей на берег волны.

Дальше гости уплывали на Камчатку, а мы с Репиным и Богдановым вернулись на Сахалин.

Летом 1977-го я попал в одну группу с Давидом Кугультиновым и Глебом Горбовским. Мы проводили Дни литературы в Углегорском районе. Полночные гостиничные беседы, случаи из жизни от участников и очевидцев этих «случаев» напрямую, без посредников — что может быть ценнее и достовернее...

— Девятнадцать лет уже, как я завязал с алкоголем, — услышал от Горбовского. — Меня теперь и за границу выпускать стали...

Он увернулся и от лимонада, который пытались ему налить в бокал, сказав:

— Даже лимонад не пью. Настолько все уже выпито...

Он прочитал стихи, которые до сих пор я люблю:

*Был обвал.  
Сломало ногу,  
завалило — ходу нет.  
Надо было бить тревогу,  
вылезать на белый свет.  
А желания — притихли...  
Копошись не копошись —  
сорок лет  
умчалась в вихре!  
Остальное — разве жизнь?..  
И решил захлопнуть очи...*



*Только вижу: муравей  
разгребает щель,  
хлопочет,  
хоть засыпан до бровей.  
Пашет носом, точно плугом,  
лезет в камень,  
как сверло.  
Ах ты, думаю, зверюга!  
И — за ним...  
И — повезло...*

— Вон какая у нас красота! Обратите внимание на ту сопку, — показал за окно узика сопровождающий нас инструктор райкома.

Его задушевный призыв полюбоваться совпал с подбросом пассажиров на дорожной колдобине аж до потолка.

— Х... увидишь! — мягко, в тон ему, отозвался Глеб Яковлевич...

Он похвалил мои стихи, услышанные на выступлениях, особенно «Надену новые ботинки...».

— К «Царю» твоему я равнодушен, мне другое больше нравится...

Горбовский рассказывал, как они с Бродским приезжали к Ахматовой в Комарово. Я интересовался впечатлением, которое она произвела на молодого Горбовского. Он отвечал сдержанно:

— Конечно, Анна Андреевна — поэт великий. Но я бы сказал — обыкновенный великий поэт...

Еще в группе выступал известный детский писатель Сергей Алексеев. Его рассказы о Петре I и полководце Суворове были популярными у школьников.

Он оказался настолько скромным и ненавязчивым человеком, что его раза два, уходя на выступления, забывали и запирали на ключ в гостиничном номере. Ему приходилось кричать в форточку и махать рукой, чтобы коллеги вернулись за ним.

## **РУКОПИСИ И РЕЦЕНЗИИ. ПОЕЗДКИ С ГОСТЯМИ**

В издательстве «Молодая гвардия», куда я отправил рукопись после Иркутского семинара, ее довольно скоро потеряли. Через два года нашли, но издавать отказались. Рецензий мне они не представили, ограничились редакторским заключением.

На Сахалине в 1977 году вышел мой сборник под названием «Радость» с предисловием Ивана Белоусова. В нем, помимо «паровозов», были и стихи, которые мне хотелось видеть в своей книге.

Получив расчет — около двух тысяч рублей, — я устроил для друзей что-то вроде обмывания в ресторанах. Репин, принимавший участие в обмыве, жаловался потом товарищам по перу:

— Колька совсем обнаглел. Музыкантам и официантам червонцы на лоб прилеплял. Давал им на чай. Словом, вел себя по-купечески безобразно...

«Славный» обычай прилепывать купюру музыканту на лоб я вынес на самом деле из греческих застолий: со свадеб и дней рождений. Так делал на нашей с Анастасией свадьбе и папа Танас. Поэтому ничего безобразного для меня в этом не было.

На квартире, где меня приютили, каждым утром по пути на работу появлялся Юрий Иванович Николаев. Мы с ним выпивали коньяк из припасенного с вечера, и он мне снова напоминал:

— Смотри, Николай, не повтори моей ошибки. Не останься сахалинским поэтом...

Мне было весело от такого напоминания, ведь я и приехал на этот остров, чтобы стать «сахалинским поэтом». Приехал из огромного города, и весь этот провинциальный снобизм меня забавлял.

А вечером наехали друзья хозяев — байкеры, и я слышал, как из гостиной комнаты доносились угрозы хозяйке — «показать, как поэты в окна летают». Господи! Как раз с того стула, на спинке которого висит мой пиджак с крупной пачкой денег...

Однако все обошлось. И большую часть денег, несмотря на продемонстрированное в Южном пижонство, я домой привез.

После Московского совещания молодых писателей я заслал рукопись новой книги в издательство «Современник». Там ее рецензировали, теряли, находили, заново рецензировали почти пять лет... Причем все рецензии были положительными, а одна из них исходила от известного советского критика Евгения Осетрова.

«Я впервые читаю стихи Николая Тарасова, хотя по рукописи видно, что мы имеем дело со сложившимся поэтом. Тарасов не только превосходно владеет стихотворным словом, но и обладает собственным поэтическим миром, что весьма редко. Другая особенность стихов Николая Тарасова в том, что они поразительно современны — в самом хорошем смысле этого слова... Николаю Тарасову как-то счастливо удалось в единое целое слить в своих стихах традиции, идущие от Леонида Мартынова, ранних полушутливых стихов Михаила Исаковского и пафосного начала Бориса Ручьева... Я счастлив отметить собственную интонацию в стихах Тарасова, оригинальный и свежий голос... Стихи талантливы, рукопись должна стать книгой...»

Получить такую хвалебную внутрииздательскую рецензию от мэтра было делом немислимым. Словом, сборнику «Обновление» просто деваться было некуда, и он вышел в 1980 году. Одно из стихотворений — «Луноход» — было посвящено Глебу Горбовскому.

*Целый вечер дождь идет,  
Настроенье — скверное.  
Нет луны.  
А луноход  
Работает, наверное...  
...Каково-то одному  
Над родной планетой...  
Каплет дождик.  
Зонт возьму.  
Друга попроведаю...*

Таким он мне представлялся: сильный и одинокий, по сути, человек. Сильный, несмотря на «слабость». Ведь в следующий приезд на Сахалин — в 1990 году — он уже опять пил.

— Как я могу не выпить на острове? Ведь здесь, на Севере, — моя юность. Здесь я работал, встретил свою любовь — Лиду Гладкую.

Про поэтессу Лидию Гладкую мы на Сахалине немного знали благодаря великому пародисту Александру Матюшкину-Герке, который на ее стихи:

*Я люблю парней добротных,  
От руля и от ветрил.  
Высоченных, мощных, плотных,  
С набалдашниками рыл! —*

написал блестящую пародию.

— Вроде бы Лиду все-таки приняли в Союз. Я уж говорил им: «Сколько можно мучить человека? Есть ведь у нее талантливые стихи...» — рассказывал Горбовский про свою первую жену, но уже в 1990 году.

Да, Дни литературы в семидесятых — это неповторимые праздники по уникальности состава участников. Стал я свидетелем трогательной встречи Давида Кугультинова со своим фронтовым другом — директором совхоза «Краснопольский» в Углегорском районе. Помню объятия друзей на банкете, тосты и слезы...

Сам Давид Никитич в узком кругу у себя в номере рассказывал, как они ходили еще в тридцать девятом году в разведку: через китайскую границу в Маньчжурию, на территорию, оккупированную японцами.

Хорошая поездка была у нас в Ноглики и в Оху с Джимом Паттерсоном — негритенком из кинофильма «Цирк». Несмотря на проседь в кудрях, это был поджарый и спортивный на вид человек. Старше меня на пятнадцать лет — выглядел почти моим ровесником.

Потом я увидел его только на съезде Союза писателей СССР в 1989 году. От прежней молодости не осталось и следа, это был мрачный чернокожий старик в форме морского офицера...

Торжественный ужин местное начальство развернуло на озере, в живописном месте. Заведующая производством местного ресторана — просто мраморная скульптура, неправдоподобно красивая молодая женщина. Мы с ней разговорились, она была не замужем.

Джимми пытался оттереть меня, но мне тоже было интересно, и я не уступал. Так мы с ним незаметно для других и перепихивались локтями, и отталкивали друг друга под столом коленками, пытаясь подсесть к ней поближе. Она рассказала нам очень внятную и волнующую историю своей жизни и произвела на нас обоих неизгладимое впечатление.

Когда возвращались с озера глубокой ночью на райкомовских уазиках, шедшая впереди нас машина вдруг обнаружилась за поворотом лежащей на боку. Мы вышли и стояли возле нее, в тишине пытались понять, что произошло. Дверца открылась, как люк танка, из нее очень осторожно выбрался Репин и вытянул за собой Сапрыгину. Слава богу, обошлось без травм.

Оказывается, молодой и веселый водитель решил, что праздник — он для всех праздник, и хватил под шумок полстакана водки. За эти «полстакана» чуть не убил людей и, конечно, лишился работы. Таковы «особенности» нашей «национальной гулянки».

В Ногликах с нами был еще казахский поэт. Пил он, не просыхая, с утра до вечера. Перед местной властью изображал «звезду», капризничал.

— Как так! Машину не подали! Пришлось идти на пирс пешком, — возмутился он.

— Ишака тебе сейчас выведем! — не выдержав, буркнул в сторону, чтобы не быть услышанным, инструктор местного райкома.

Из Южно-Сахалинска нашу группу сопровождал инструктор обкома партии Борис Васильевич Морозов, будущий директор Сахалинского драматического театра. И как-то вечером у озера устроил он концерт неаполитанской песни. У

него оказался настоящий тенор, еще не испитый, как в дальнейшем, когда он работал после театра директором Бюро пропаганды художественной литературы уже на закате этой организации. Тогда же выяснилось, что он и на скрипке чудесно играет.

Был он человеком противоречивым. Но меня он восхитил сразу же в те семидесятые годы. И на работу в Бюро пропаганды я его принял в середине девяностых за личную талантливость. Хотя перед этим ему ставили в вину развал театра, и ушел он оттуда по настоянию актеров.

Можно представить, как звучали на фоне вечерней зари, под плеск мелкой озерной волны неаполитанские песни, да еще и на итальянском языке.

Руководителем нашей писательской группы был прозаик Василий Емельяненко, бывший летчик, Герой Советского Союза. Мы, трое сахалинцев — Репин, Сапрыгина и я, — выступали позвончее и поувереннее гостей. Это отметили и они сами.

— Их у себя на родине мало кто слышит и знает, — объяснила Сапрыгина. — Это у нас такое активное Бюро пропаганды. Поэтому и писатели наши — с бóльшим опытом выступлений...

В Южно-Сахалинске запомнилась доброжелательность Риммы Казаковой и Лидии Либединой.

— Колька! Ты должен закадрить Римму, — похохатывал Репин. — Пусть у нее хорошая память останется о Сахалине. Чем ты хуже Боброва?!

Боброва я поначалу принимал за «гитариста-песельника». Он не отлипал от Казаковой и очень уж выделялся под рубаху-парня, чтобы понравиться остальному — в юбках — народу.

## ПИСАТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ

Как-то, едуци в Невельск из Южно-Сахалинска, мы с Мишей Финновым высадились в Холмске-Северном, где поезд стоял около часа, и пошли в ресторан. Когда вышли, увидели хвост последнего вагона. Буквально — поезд ушел...

Была ночь, и мы запрыгнули на пустую платформу товарняка, который вскоре тронулся. На нем мы добрались только до поселка Правда, где он встал под погрузку бочкотары. Спрыгнув с него, решили ловить ночные попутки.

Долго ждать не пришлось: у переезда нас ослепили фары подъехавшей «Волги». Из нее послышался раскатистый командирский баритон: «Да это же наш поэт Финнов!»

Благодаря тому, что Миша был признан, нас посадили в одну из двух — в первую — машину. В ней возвращался из Южного председатель Невельского горисполкома Аржемирский. Хозяин вел себя деликатно и после краткого обмена с Мишей какими-то фразами дал нам поспать в машине до самого Невельска.

Звание матроса первого класса Михаила Финнова перестало устраивать. Года клонили к прозе и к офицерскому званию в морской иерархии. В середине семидесятых Миша уже служил командиром учебной роты курсантов в Невельской мореходке. И сам учился заочно на штурмана.

Непривычно было поначалу видеть Мишу в морской форме, которая, кстати, ему очень шла, в золотых крабах, в капитанской фуражке... Несколько раз я бывал у него в общежитии. Курсанты его уважали, может быть, потому, что разговаривал он с ними нормальным, человеческим языком старшего товарища.

Его рота как лучшая в училище была отправлена на Первомайский парад в Южно-Сахалинск, где прошла строевым шагом перед трибунами. И мы лицецерели Финнова, печатавшего шаг впереди своей роты.

Как-то, возвращаясь из увольнительной на службу, то есть из Южно-Сахалинска в Невельск, Михаил получил конверт с письмом из Союза писателей, где рассматривался вопрос о его приеме в члены СП СССР. Подъезжая к станции Новодеревенской, решил все-таки вскрыть конверт, в котором была выписка из решения секретариата о том, что он принят.

Таким «нервным» делом оказалось для Миши вскрытие конверта, видимо, потому, что последние приемы сахалинцев в Союз не всегда проходили гладко. В частности, отклонялись кандидатуры Мандрика и Николаева. В обоих случаях потребовалось вмешательство — то есть личная просьба первого секретаря обкома КПСС Павла Артемовича Леонова. Его телефонные звонки в секретариат по поводу приема в Союз писателей инвалида, участника освобождения Курильских островов Мандрика, а позже — партработника, своего помощника Николаева, делу помогли.

У Финнова таких высоких «костылей» не было. А было три поэтических сборника с морскими стихами. Сам-то я считаю «маринистику» его первой книги «Чувство открытого моря» наиболее свежей и интересной на Сахалине того времени.

«Соль-мозоль» и мелодраматизм стихов Юрия Николаева, к примеру, воспринимались только в его собственном исполнении, в сочетании с личным обаянием. Не раз был свидетелем того, как Юрия Ивановича, сияющего золотом морской формы, чуть ли не на руках носили слушательницы после выступления где-нибудь в Корсакове, Холмске или Невельске. Слезы и счастливые улыбки жен и подружек моряков во время его выступлений незабываемы.

Другое дело стихи Финнова. С ними можно было оставаться наедине, почитательски.

*Так грустно сумерки серели,  
Что каждый чувствовал — зовет...  
И выплывали к нам сирены  
Из глубы океанских вод.  
Как влажны их тугие груди  
И грациозен тел изгиб, —  
Знать, правду сказывали люди  
Про полуженщин-полурыб.  
Они игриво нам кивали —  
Манили очертаньем тел,  
То возникали в океане,  
То исчезали в темноте.  
И не выдерживали нервы —  
Сдавался кто-то в тишине:  
— Вишь, разыгрались нынче нервы!  
Пойду...  
Письмо писать...  
Жене.*

Поэтому Миша и был принят в Союз писателей своим ходом, как и большинство сахалинских прозаиков и поэтов.

Прочитав решение секретариата, Миша на станции выпрыгнул из поезда и помчался назад в Южный, чтобы порадовать свою верную подружку и жену Валерию Каменецкую. Так он сам впоследствии поведал мне об этом эпизоде.

Вступление в Союз писателей в те годы имело совершенно иное значение для автора, нежели сейчас. Помимо признания его как профессионала, открывались новые социально-бытовые возможности.

Одна из них — ежегодный отдых в Доме творчества писателей в Юрмале, Пицунде, Переделкино, Малеевке, Коктебеле, Ялте, Шувелянах или где-нибудь еще...

Можно было приобрести по разнарядке Союза без очереди любой автомобиль. И надо сказать, что все наши писатели машины приобрели, даже те, кто не имел водительских прав, — кто для сына, кто для дальнего родственника, кто и вовсе для приятеля под видом троюродного племянника.

Третья возможность: творческие командировки по области или за ее пределами. Именно так выбирались набраться творческих впечатлений и поработать над книгой в глубинке на Курильские острова или на остров Монерон Финнов и Тобояк.

Помню, заглянув в один из кабинетов на телевидении, увидел я сидящего в одиночестве Леонида Аркадьевича Никчемного, композитора-песенника, друга Финнова, душевного человека, заодно и главного редактора музыкальных программ ТВ.

— Что случилось? — не удержался я от вопроса.

Леонид Аркадьевич отер платком слезы и с глубокой печалью сказал:

— Бедный Миша! Приехала наша съемочная группа с острова Урупа. Рассказывают, что видели там Мишу — нечесаного, небритого и босого. Скитается он там голодный по острову, кормится то на маяке, то у метеорологов, а ехать домой не хочет. «Повесть пишу», — говорит. Видно, привык уже к первобытной жизни...

Параллельно с приемом в Союз писателей принимали и в Литературный фонд СССР, который оплачивал значительную часть стоимости путевки в Дом творчества, а также проезд до места назначения, что для нас, островитян, было немаловажным.

Вырастал и гонорар. Стихотворная строчка в газете оплачивалась выше, не говоря уж о строчке в издаваемой книге. Помнится, Лебков рассказывал, что трехрублевый гонорар из газеты «Молодая гвардия» он отправил обратно с просьбой переправить его в Фонд мира, сочтя сумму оскорбительной.

Вдвое вырастала и сумма выплаты гонорара за выступления по линии Бюро пропаганды: с семи рублей восьмидесяти копеек до пятнадцати рублей, о чем я уже говорил.

В конце семидесятых были приняты в Союз писателей Валентин Богданов, Борис Репин и приехавший не так давно с Урала Евгений Замятин — студент-заочник Литературного института имени А. М. Горького, рабочий, в общем-то, паренек.

С поэтом вологодских корней Валентином Богдановым мы были знакомы давно, с самого начала семидесятых, когда он жил в Корсакове и только-только из местной газеты был переведен на должность редактора издательства. Ему приходилось каждый день ездить на междугороднем автобусе на работу и возвращаться в Корсаков.

Мы подружились с ним, сами живя на сессиях то у Арбузовых, то у Кольцовых. Несколько раз с Анастасией провожали его. Ожидая корсаковский автобус, мы пили с ним «посошок» за забором строящегося железнодорожного вокзала: огромную бутылку вермута из горла. Анастасия не пила, но мягко внушала моему товарищу:

— Когда станешь, Валя, директором издательства, то уж про Колно не забудь — издай его книгу...

— Само собой! — гулко, по-вологодски ударяя на «о» и не отрываясь от бутылки, отзывался Валентин. — Коля — поэт хороший...

Как-то через пару лет засиделись мы с Финновым в гостиничном номере приездного поэта. Кончились деньги.

— Ничего, — сказал Миша. — Сейчас Вале позвоню. Он мне должен... — И через десять минут показал за окно: — Смотри, вот и он подъехал...

В окне я увидел, как из черной обкомовской «Волги» выходит лощеный, тоже весь в черном, осанистый, несмотря на небольшой свой рост, начальник. Узнать Валу было трудно.

— Здравствуйте, Валентин Анатольевич, — слегка наигрывая, поздоровался я.

— Сидите, сидите, — кивнул он в ответ. И, не отходя от порога, выдал Мише требуемую сумму. От него пахло дорогим одеколоном. Присесть он отказался: «Дела, дела...» Был он в ту пору заведующим сектором печати в обкоме партии.

На самом деле, сделавшись директором издательства через несколько лет, Валентин ни меня, ни даже себя не издал. И вообще никаких заметных книг при нем не вышло. В основном партийно-хозяйственная публицистика. Хорошо ли, плохо, — но это был почти единственный директор издательства, который не использовал в собственных целях служебного положения. Говоря словами персонажа одного из юмористических рассказов Олега Кузнецова, — «честный до дурости...»

Все другие, — что писатели, что газетчики, — вступив в директорскую должность, немедленно бросались делать свои книги: Максимов, Николаев, Грозин, Кузнецов...

Валентин был совершенно не тщеславен и не алчен. Заодно плевать хотел он и на чужие книги. Он любил и замечательно читал по памяти стихи Николая Рубцова, с которым был шапочно знаком, стихи Михаила Дудина о свадьбе Пушкина...

Мои стихи вдруг начали активно печатать в главной газете области — в «Советском Сахалине». Обычно колонкой слева. Отделом культуры в газете тогда заведовал Евгений Бабкин, позже «золотое перо» островной журналистики. Он меня выделял среди областных стихотворцев и не раз говорил мне об этом.

Но вскоре случилось и «падение» его с должности. На Днях литературы, когда он от газеты сопровождал писателей на Курилах и, естественно, выпивал, как все, а потом и больше прочих, — затеяли играть в шахматы. Остановились писатели в южнокурильской деревянной гостинице с удобствами на улице.

Как мне рассказывал потом сам Бабкин, они очень мирно играли очередную партию с автором знаменитых романов «Жестокость», «Испытательный срок» Павлом Нилиным, когда писатель вынужден был прерваться и выйти во двор.

Вернувшись, он продолжил игру, и Женя Бабкин сказал ему фразу, обычную у шахматистов. Из шахматного сленга, как он сам объяснял мне.

— А сейчас мы будем вас убивать!..

От этой фразы или от туалета во дворе Нилин взвился и закричал:

— Да кто вы такой! Да как вы смеете! Освободите меня от присутствия этого субъекта!

Бабкина отправили домой следующим самолетом. Несмотря на это, тем же самолетом улетел и Нилин, сославшись на неприемлемый для его здоровья дискомфорт...

Помня Бабкина, могу сказать: он был не пиететен. То есть держался одинаково со всеми — будь перед ним министр, звезда шоу или простой рабочий. Его репортерская закуска, возможно, раздражала именитых гостей.

Заведовать отделом культуры стала Валерия Ильинична Каменецкая, жена Финнова. Она к тому времени заканчивала ВГИК, становилась дипломированным критиком в театральной жизни. А Бабкин стал спецкором отдела информации, потом его заведующим. И его материалы умножали славу тогдашнего «Советского Сахалина».

## ИТУРУП

В июле я уехал по путевке обкома ВЛКСМ на Итуруп для встреч с пограничниками и рабочими рыбообрабатывающих заводов в составе славной агитбригады. Со мной отправлялись: молодой скульптор Александр Ефимов, актер Народного театра Дома культуры железнодорожников Евгений Бельжицкий и певица из того же театра Галина Еремина, а также журналистка газеты «Молодая гвардия» Татьяна Минакова. Ни с кем из них знаком до того я не был.

Это была моя первая длительная поездка на Курилы и, пожалуй, самая памятная. Пограничники приняли нас хорошо. Познакомились мы и с редактором газеты «Красный маяк» Николаем Ивановичем Савченко, сильно заикающимся, но очень доброжелательным человеком средних лет.

Сотрудница газеты, подруга Минаковой, поселила нас у себя в деревянном доме. И каким-то образом на нас вышел (или мы на него) плотник местного стройуправления, краевед Николай Иванович Чирсков. Он предложил нам подняться по тропе на вулкан Баранского. Дороги туда еще не было, она появилась позднее, а была именно таежная тропа.

Это было предложение, от которого мы не смогли отказаться. Нам предстояло пройти двадцать километров по тайге. Наш проводник оснастил нас экипировкой, и мы пустились в путь.

На тропе встречались следы медведей, Чирсков показывал их. Но тогда почему-то никаких опасений это не вызывало, а воспринималось как таежная экзотика.

В пути мы остановились у геологов, которые радушно запустили нас укрыться от дождя в свою базовую палатку с продуктами. Но мы шли со своими продуктами, и девушки варили еду на костре.

Встретилась группа школьников, юных краеведов. Мы выступили перед ними, ответили, как водится, на вопросы, а Саша Ефимов на глазах у изумленных ребят вырубил топором из бревна «идолицу», которая потрясла всех своей женственностью. Кто-то рассказывал мне позже, что эту скульптуру потом вывезли из тайги в школьный музей.

Так мы и добрались до бурлящих фумарол и горячей серной речки. Чирсков показал нам природные ванночки, в которых можно было купаться, поскольку неподалеку от них впадали в реку студёные ручейки. Ощущение после купания в зеленоватой воде было странное — кожа порозовела и казалась вычищенной пемзой.

— По сути, это слабая серная кислота... — объяснил наш проводник.

На Баранском заросли трехметрового бамбука сменились непролазными зарослями кедрового стланика. Отсюда были отчетливо видны другие красавцы-вулканы: Иван Грозный, Дракон, Мачеха... Виден был даже океанский берег, куда падала с высоты горячая река Серная в клубах пара. А голые каменистые проплешины с фумаролами, откуда бил горячий пар и клочкотала вода, смахивали на сколы ада. Вокруг было много серы и пемзы.

Мы двинулись в обратный путь, вновь задержавшись в палатке у геологов. Для них наемные «трудники» прорубали в бамбуках рабочие тропы. Нам дали удочки, и мы спустились к речке порыбачить.

Голец клевал не переставая. За час мы наполнили ведро и двинулись вверх, к палатке. Но в сплошной, без просветов, стене бамбука совершенно не было видно, куда идти. В итоге мы «промазали» мимо палатки метров на десять. Поняли по времени, что нужно вернуться, и на второй раз попали куда надо. Женщины сварили ведро ухи, и все наелись до отвала.



А между тем зарядил упорный дождь, небо стало грозным из-за темнеющих туч. Затем, уже в дороге, стало нас дергать порывами ветра. И дождь не переставал. Чем ниже с гор мы спускались, тем гуще были водные потоки. Забыв про тропу, мы пытались лавировать между залитыми ямами. Но скоро шли уже просто по пояс и даже по грудь в воде — туда, куда она бежала.

Когда наконец вышли к рыбопроизводному заводу, за которым находился мост через Курилку, то оказалось, что вместо реки и моста — необозримое водное пространство. Вдалеке светились огоньки Курильска.

Добрая женщина с рыбозавода приютила нас, нашла сухую одежду. Вытащила из погреба съестные припасы. Мы поужинали и улеглись спать. Но среди ночи Галине-певице стало плохо. Оказалось, что она сердечница.

Пришлось искать лодку и плыть за доктором в Курильск. Доктора мы привезли, но на это ушла вся ночь. Днем вода стала спадать, и мы отправились побродить по лесу. Во всех ямах, рывтинах и лощинах плескалась кета. Такое городскому человеку можно увидеть, думаю, только раз в жизни.

Уходя, мы видели, как за нами, прихватив охотничье ружьишко, отправился доглядывать общественный рыбинспектор, он же секретарь Курильского горкома комсомола Андрей Литвин, живший в поселке рыбозавода.

Ни рыба, ни икра нас не интересовали. Интересно было увидеть размах последствий природного катаклизма. К тому же хозяйка предлагала нам по банке икры из своих погребных запасов, но мы отказались. И все же кто-то потом рассказывал, что Литвин в своем донесении в обком ВЛКСМ сообщал, что мы ходили по затопленному лесу с целью браконьерства.

Так мы прошли сквозь знаменитый тайфун Тип, снесший на Курилах в 1979 году все мосты.

Через день мы сумели переправиться на лодке и плоту в Курильск, который в тот момент представлялся нам чуть ли не центром цивилизации.

Когда я вернулся из поездки, мы приступили к ремонту новообретенной квартиры. В Горнозаводск не заезжал, поскольку контейнер был уже в пути. Руководил его загрузкой и отправкой Михалыч.

Я ретирал стены и потолок, клеил обои. Спали мы все на полу и раскладушках. Благо начиналась золотая осень.

Когда докрашивали полы, за нами заехали артисты — Емельянов со Степановым. Заставили нас замочить кисти и поехать с ними на актерскую тусовку — домашние проводы одного из друзей.

Нам, уже ошалевшим от краски, такая разрядка оказалась кстати: разогнулись, вдохнули-выдохнули не отравленный краской воздух, поразговаривали. Степанов тоже собирался уезжать, как уехал уже Слава Боев. Всех их звал за собой режиссер Иванов, уехавший ранее в Воронеж. Оставались пока Толубеев, Емельянов, не так давно приехавший Ульянов... Может быть, их туда пока не звали.

Вскоре подошел контейнер из Горнозаводска, и значительная часть труппы театра, возглавляемая Виктором Степановым и Володей Емельяновым, подняла все серванты, шифоньеры, столы, стулья, диван, кресла, кухонный гарнитур и прочая, прочая — всё, изготовленное Артемовской мебельной фабрикой, на пятый этаж дома № 191 по улице Комсомольской.

После этого мы хорошо посидели в ознаменование новоселья, ребята что-то изображали, «выдавали» шуточные монологи. Одному из них я подарил узбекский халат, их на тот момент у нас было несколько. Он замечательно изображал генсека Брежнева, передразнивание которого только входило в моду.

Здесь же, на первом этаже, где теперь размещается филиал городской библиотеки, располагалась писательская организация. Впрочем, скоро она переехала в новое здание областной библиотеки.

— До той поры, — сказал первый секретарь обкома партии Леонов, — пока не выстроим писателям свое помещение...

В октябре истекли первые десять лет моей жизни на Сахалине. В этом же году, незадолго до зарождения грозного тайфуна по имени Тип, сквозь который мне повезло пройти не повредившись, в поселке Ново-Александровске родилась девочка, названная Аней.

И я совершенно не подозревал тогда, что отсюда уже начался новый отсчет в моей жизни.

